

СЕВЕР

Глеб ГОРЫШИН
МОЖНО СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
записи летом и осенью

Александр ГОСТОМЫСЛОВ
ШУБА ДЛЯ ПЕРВОЙ ЛЕДИ
криминальная повесть

Игорь ИЛЬИН
ТВОИ КОРАБЛИ, РОССИЯ
статья

Эйно КАРХУ
ПРОЩАНИЕ С ИНГЕРМАНЛАНДИЕЙ
записки ее уроженца

8.9

1996

Эйно КАРХУ

Эйно Генрихович КАРХУ родился в 1923 году в Ленинградской области. Доктор филологических наук. Автор двенадцати книг и многочисленных статей по истории финской литературы, финско-русским литературным связям, фольклору и литературе Карелии. Член Союза писателей России. Лауреат Государственной премии КАССР. Живет в Петрозаводске.



ПРОЩАНИЕ С ИНГЕРМАНЛАНДИЕЙ

Записки ее уроженца

У финской поэтессы Эдит Сёдергран есть стихотворение с характерным названием: «Страна, которой нет». Сёдергран, поэтесса с трагической судьбой, имела в виду страну мечты и грез, которым не было соответствия в реальной жизни.

Ингерманландия — вполне реальный край, в котором с давних времен жили финны-ингерманландцы и в которой родился и автор этих записок. Но Ингерманландии в прежнем виде уже не существует. О бывшей Ингерманландии и пойдет рассказ.

В этих записках мемуарного характера делается попытка воссоздать хотя бы частично картину обыденной жизни прежней ингерманландской деревни, какой она запомнилась автору в пору его детства и ранней юности.

Признаться, я долго колебался, прежде чем взяться за эти записки, хотя друзья и знакомые давно просили: подумай и решишь. Я многократно проверял себя, достаточно ли насыщена моя память подробностями давней жизни и можно ли связать их в нечто целостное, заслуживающее общего внимания. Когда же память начала постепенно раскручиваться и одна подробность цеплялась за другую, я сам удивлялся, сколько много впечатлений впитало в себя детское сознание и как живо всплывает из глубин памяти прежний деревенский мир.

Цель этих записок — рассказать о максимально конкретном, лично пережитом прошлом. И вместе с тем в конкретном и личном, смею надеяться, отражается эпоха,

состояние ингерманландской народной жизни на определенном историческом этапе. Постараюсь ничего не выдумывать, придерживаться трезвого взгляда на былую реальность, рассказать обо всем спокойно, без ностальгической сентиментальности, с чувством внутренней правды и честности перед собой, перед ушедшими предками и живыми современниками.

Тем не менее рискованно давать обеты некой идеальной объективности и полноты изложения событий. В душе у каждого свой индивидуальный образ родины, который хочется запечатлеть в меру своего умения. В коллективной народной памяти родина многолика, каждый вносит свою лепту в общую мозаику.

Речь пойдет и о всей Ингерманландии, и о ее судьбе, но в центре внимания будет народная жизнь одного лютеранского прихода, в который входило около пятидесяти финских деревень почти с пятью тысячами жителей. Это приход Хиетамяки, к которому относилась и моя родная деревня. Лютеранские приходы в Ингерманландии (их было до трех десятков) объединяли жителей не только по конфессиональному, но и этническому признаку, что в гражданском административном делении не учитывалось. Лютеранские приходы имели немалое значение в этнокультурной жизни, они содействовали сохранению финского языка.

Внимание сосредоточено на ингерманландской деревне двадцатых-тридцатых годов, то есть на самом последнем, заключи-

тельном этапе существования Ингерманландии как исторически сложившейся компактной этнической целостности. Вскоре после этого этническая целостность была разрушена — против воли и помимо самих ингерманландцев.

Как известно, еще в тридцатые годы ингерманландская деревня сильно пострадала от принудительных выселений значительной части жителей в весьма отдаленные края обширного государства. Затем было покончено со школьным образованием на родном языке, равно как и с деятельностью лютеранской церкви, поскольку то и другое способствовало этническому самосохранению. Потом была война, оторвавшая многих коренных жителей от родной почвы, а в послевоенные годы ингерманландцам вообще возбранялось жить на родине. И хотя впоследствии, в конце 1950-х годов, ограничивающий паспортный режим уже был отменен, процесс распада и рассеивания этноса уже слишком далеко зашел и был необратим. Ведь многим возвращаться после отмены запретов было уже некуда, их прежние дома либо сгорели в войну, либо заняты другими людьми. Многие деревень вообще уже не существовало, а в сохранившихся жители-возвращенцы составляли ничтожное меньшинство; бывшее культурно-языковое единство уже невосстановимо.

В результате всего этого 150-тысячное финское население Ингерманландии оказалось рассеянным и расплывленным по разным регионам бывшего СССР (Карелия, Эстония, Сибирь, другие территории), а также

по зарубежью — от Финляндии и Швеции до Канады и Австралии. Причем эмиграция ингерманландцев в Финляндию продолжается в настоящее время.

Ингерманландские финны — лишь одна из множества этнических групп, оказавшихся бесправными в современном мире. В этих моих записках пока не предлагается более широкая постановка проблемы национальных меньшинств. Но со временем, будем надеяться, записки об Ингерманландии войдут в задуманную автором книгу с более обязывающим заглавием и с более широким охватом проблем. Ведь в принципе это проблемы глобального значения уже потому, что в мире тысячи малых народов, национальных меньшинств, этнических групп, региональных диаспор и иных образований, как бы по-разному их ни называли. Они есть на всех континентах и едва ли не во всех странах. И трудности у них во многом одни и те же, на почве чего малые народы объединяются в борьбе за свои права. Существует немало международных организаций, ставящих перед собой такую цель. Национальные проблемы возникают даже в самых, казалось бы, благополучных обществах, и об этом накопилась огромная литература на разных языках, к которой весьма полезно обратиться.

Рабочее название будущей книги: «Малые народы в потоке истории. (Прибалтийско-финский регион)». Ее подготовка в полном виде еще потребует времени.

А пока поведем рассказ об Ингерманландии.

ПРИХОД ХИЕТАМЯКИ И ДЕРЕВНЯ ФИННО-ВЫСОЦКОЕ

На старых картах Ингерманландии моя родная деревня значилась просто как Вуйсакка — по-русски Высоцкое. Так ее называли, видимо, и местные жители — без особого этнического уточнения, что это именно Финно-Высоцкое.

Но поскольку в полутора километрах от нашей финской деревни, непосредственно на Нарвском шоссе, расположилась еще и русская деревня с таким же названием Высоцкое, то потребовались этнические уточнения: Финно-Высоцкое и Русско-Высоцкое.

Деревни Финно-Высоцкое давно уже нет. Она стала хиреть и уменьшаться в размерах еще в начале тридцатых годов в связи с выселением части семейств, а окончательно ее уничтожила война. Ни в тридцатые годы, ни после войны на месте снесенных домов никто ничего уже не строил. Такова была судьба многих ингерманландских деревень, стоявших чуть поодаль от основных

дорог. Деревня Финно-Высоцкое находилась как бы посередине между двух шоссе — Нарвского и Ропшинского, которые оба соединяются в Красном Селе. От нашей деревни к этим шоссе вели только полевые дороги, малопригодные для современного транспорта. Такие деревни не привлекали новых застройщиков, выбиравших места непосредственно у шоссеиных дорог. Деревня Русско-Высоцкое вдоль Нарвского шоссе выросла в большой поселок, а от Финно-Высоцкого не осталось следа.

Название лютеранско-финского прихода Хиетамяки переводится как Песчаная Горка. Однако никаких особых горок, по меньшей мере в детском восприятии, там не было — ни непосредственно в приходском центре с церковью, ни в ближайших окрестностях. Да и название деревни Высоцкое намекало на ландшафтную «высотность», которая тоже не особенно бросалась в глаза.

Когда мы потом оказались в ссылке на Кольском полуострове посреди Хибинских гор, вот где я впервые увидел настоящую высоту. Наш барачный поселок был стеснен с двух сторон высокими хребтами, с которых зимой скатывались снежные лавины, а солнце в долине вообще показывалось на короткое время только в марте, сначала освещая только самую макушку горы и с каждым днем опуская границу света чуть ниже, пока не показывалось и само из-за противоположной горы. Мальчишки на лыжах имели обыкновение карабкаться на освещенную вершину «за солнцем», хотя из-за снежных обвалов это было небезопасно и даже запрещалось.

После Хибинских гор ингерманландский ландшафт во время посещения родных мест казался мне совершенно равнинным, как и берега карельской реки Водлы, куда нас переселили летом 1940 года. Помню, как я ходил по этим берегам, и непривычное ощущение открытого простора было настолько сильным, что это рождало смутную жажду свободы, желанной и недостижимой.

Только теперь по зрелом размышлении я догадываюсь, что восприятие ландшафта крестьянином-земледельцем совсем иное, чем праздным туристом или дачником. Крестьянин-земледелец исходит прежде всего из качества почвы и именно с этой точки зрения оценивает низинность или возвышенность местности, на которой находятся его поля. Обычный глаз различал в пределах прихода Хиетамяки разве что слабую, едва выраженную волнистость ландшафта в далекой перспективе, к самой линии горизонта. Но почвы различались — они были песчаные и суглинистые, сухие и переувлажненные. Приходская церковь Хиетамяки и сама деревня Кяйвяря находились как раз на песчаных почвах.

Это сказывалось и в названиях деревень и в иной топонимике. Среди деревень прихода была Алакюля (Нижняя деревня), Хиекка (Пески), Савелайси (Глиняная), рядом были Малые Горки и Большие Горки, Верхняя Пурскува и Нижняя Пурскува и т.д.

Некоторая холмистость ландшафта начиналась только у Красного Села и Дудергофа, что стало достопримечательностью тех мест. На склонах холмов Дудергофа, по-фински Туутари, до сих пор проводятся ингерманландские певческие праздники, которые стали традиционными с конца прошлого века. А еще раньше, начиная с XVIII столетия, эти же ландшафты с чередованием холмов и долин были облюбованы для проведения летних лагерных сборов и полевых учений элитных частей российской армии с присутствием царских особ, высших военных чинов и петербургской знати.

Через Красное Село и Дудергоф была проложена со временем железная дорога,

и она стала неким рубежом между двумя соседними лютеранскими приходами — Туутари и Хиетамяки. Приход Туутари возник гораздо раньше, он значится еще на старых картах Ингерманландии, в него тогда входили и те финские деревни, которые с образованием прихода Хиетамяки в конце прошлого века переданы ему. Что же касается железной дороги, пролегающей между двумя приходами, то это была и своего рода этническая перегородка, поскольку железнодорожная магистраль концентрировала вдоль себя русское население.

Впрочем, еще до железных дорог вокруг Петербурга, в его пригородах и вообще в Ингерманландии была сравнительно развитая дорожная сеть. Вокруг столицы возвели немало загородных дворцов, летних резиденций членов царской фамилии, дворянских усадеб, дачных мест, к которым вели мощные дороги, а они в свою очередь способствовали притоку новых поселенцев и образованию поселков с русским населением. Те же Красное Село, Дудергоф, Тайцы, Гатчина были русскими населенными пунктами еще до соединения их железной дорогой, а с ее возникновением из экономическое и этнокультурное влияние на жителей финских деревень возросло.

И все-таки даже в двадцатые-тридцатые годы деревни на некоторых пригородных магистралях продолжали оставаться финскими. В частности, и деревни прихода Хиетамяки, расположенные непосредственно на шоссе Красное Село — Ропша. Сама Ропша, как и Красное Село, была уже давно русским поселком, хотя по традиции и считалась центром Ропшинского лютеранского прихода, сохранившего это название. Еще в XVIII веке в Ропше был построен охотничий дворец с парком и прудами, в которых разводили ценные породы рыб для царского стола. Кстати, в Ропшинском дворце в 1762 году убит при не очень ясных обстоятельствах опальный царь Петр III, внук Петра Великого, свергнутый до этого с престола в результате офицерского заговора и с благоволения супруги, будущей императрицы Екатерины II. Во время офицерской пирушки в Ропшинском дворце совершилось и царевубийство, чем супруга была не очень встревожена. Ропша тоже входила в красносельско-дудергофский район летних военных лагерей и маневров, которые проводились едва ли не ежегодно вплоть до начала XX века и о которых вспоминали окрестные ингерманландские крестьяне. Они вспоминали и о том, что в лесах вокруг Ропши долго водились фазаны, которых разводили в специальных угодьях для царской охоты.

В Ропше была небольшая бумажная фабрика, работавшая на вторичном сырье, привозимом из городских контор и складов. Фабрика действовала и в тридцатые годы,

по зимам местные ингерманландские крестьяне нанимались в извоз ради приработка. Словом, на местном уровне развивались неизбежные межэтнические контакты, хотя деревни вдоль Ропшинского шоссе в направлении к Красному Селу оставались тогда еще финскими: Рютемюллю, Эрттеля, Кяйвяря (центр прихода Хиетамяки), Котсала, Хеймоси — все на протяжении каких-нибудь пятнадцати километров. Часть этого пути мне довелось потом проходить семилетним мальчишкой ежедневно, когда я начал учиться в первом классе приходской школы в Кяйвяря. Впоследствии, когда родители уже были в хибинской ссылке, а мы с братом Александром оставались на попечение родственников, я часто бегал к нему повидаться в Котсалу, где он, всего лишь пятью годами старше меня, пас самостоятельное деревенское стадо.

В ингерманландских деревнях русским языком тогда владели до некоторой степени только те из мужчин, которым приходилось часто ездить в город или в русские селения, иметь деловые связи с русским населением либо учреждениями. Женщины, как правило, русского языка не знали, тем более дети. В самой деревне русский язык не был в обиходе, деревня жила всецело в мире родного местного диалекта, и только за пределами этого мира требовался русский язык. Родной диалект оставался тогда родным еще в самом непосредственном значении слова, а не просто для анкетных данных при переписи населения, — смысл этого уточнения поймет только тот, кто сам прошел через языковую эволюцию.

Женщины из ингерманландских деревень стали регулярно ездить в город только с началом коллективизации, что совпало с введением в стране жесткой карточной системы на хлеб и его исчезновением из свободной продажи. В колхозах зерна на трудодни выдавали совсем мало, купить негде, и в начале тридцатых годов деревенские женщины вынуждены были увозить в Ленинград еженедельно или даже дважды в неделю чуть ли не весь удой от единственной коровы, чтобы обменять там в знакомых городских квартирах или на рынке молоко на хлеб. Это стало тогда повальным явлением и для финских, и для русских деревень под Ленинградом; колхозницами с молочными бидонами были забыты пригородные поезда, и через это же, такой же ценой и в такой же жизненной школе ингерманландские женщины осваивали русский язык.

Теперь чуть подробнее о моей родной деревне Финно-Высоцкое доколхозных лет.

Она находилась примерно в километре-полтора в стороне от Ропшинского шоссе, с которым ее связывала никак не обустроенная полевая дорога. В дожди она размывала, весной во время снеготаяния размыва-

лась ручьями, и в школу я бежал, перепрыгивая через них, но все равно с мокрыми ногами. Для крестьянских лошадей с грузеными возами такие дороги были очень тяжелыми, и в распутицу нередко к шоссе груз подвозили несколько раз и там уже перегружали на большую телегу, в один общий воз, чтобы везти в город.

Несмотря на то что деревня располагалась чуть на отшибе, она почему-то издавна считалась как бы центром небольшой группы деревень, именовавшейся по-фински «kuläkunta», — это слово применительно к Финно-Высоцкому встречалось еще в доволюционных ингерманландских газетах. А в советское время местный сельский совет именовался официально, словно по инерции, Финно-Высоцким, хотя сельсоветской конторы в нашей деревне никогда не было, она находилась по соседству. Видимо, в давние времена в Финно-Высоцком жил сельский староста группы ближайших деревень, и поскольку это могло повторяться в течение ряда поколений, отсюда пошла традиция считать нашу деревню неким центром. Кроме того, со времен крепостничества в соседнем Русско-Высоцком размещалась помещичья усадьба — само ее местонахождение, как и слово «hövi», оставалось по-прежнему в памяти у местных ингерманландских крестьян также в двадцатые-тридцатые годы. Похоже, их предки были крепостными именно в этой помещичьей усадьбе, а старостой назначался кто-нибудь из Финно-Высоцкого.

Таким образом, в местной топонимике — пусть даже в малом масштабе — приоткрывалось историческое пространство: Ропшинский «охотничий дворец» с памятным царевубийством и летними лагерями гвардейских полков, по соседству — русская помещичья усадьба, крепостные крестьяне и сельские старосты.

В пору моего детства в деревне Финно-Высоцкое было двадцать семь крестьянских подворий. Дома стояли в два ряда по обе стороны одной-единственной деревенской улицы. Скуденность домов и всей своей структурой ингерманландские деревни напоминали соседние русские деревни. И в то же время они были совсем непохожи, скажем, на финские или скандинавские деревни с их расчлененными самостоятельными крестьянскими усадьбами.

В нашей деревне, как и вообще в ингерманландских и русских деревнях, непосредственно к крестьянскому подворью примыкал лишь небольшой участок земли, тогда как основные поля и луга находились поодаль от деревни, причем полоски одного хозяина чередовались с полосками других хозяев, что объяснялось периодическими переделами земли.

Финско-скандинавская усадебная струк-

тура деревни объяснялась традиционным мелкокрестьянским землевладением. Наследственной крестьянской усадьбой владели несколько поколений одного и того же крестьянского рода; за десятилетия и века поля обрастали мощной каменной оградой, символизировавшей прочность родового гнезда.

Ничего похожего в Ингерманландии не было, хотя характерная для потомственных землевладельцев привязанность к родному дому и родной деревне, конечно же, сохранялась.

Отличие состояло и в устройстве крестьянского подворья. Хозяйственные постройки не отделялись от жилого дома, а примыкали к нему и находились по сути под одной крышей: и хлев, и конюшня, и сеновал, и двор с телегами, саями и сельскохозяйственными орудиями. Это считалось удобным. Морозным зимним утром либо в метель не надо было спозаранку выходить на улицу, чтобы подоить корову или насыпать лошади овса. Отдельно от дома находились только колодец, погреб-ледник, баня и овин. (Кстати сказать, на хуторах в Прибалтике колодцы иногда копались под крышей внутри дома.) Как известно, на финском крестьянском подворье все хозяйственные постройки отделены от дома. Между прочим, это отличие финского подворья в сопоставлении с беломорско-карельской деревней (придерживавшейся русской традиции) описал еще Элиас Лённрот.

Отмечу еще один по-своему исторический штрих доколхозного ингерманландского крестьянского подворья. Тот относительно небольшой участок территории, который оставался между домом и овином (расстояние примерно 30-40 метров), обычно не запахивался, по меньшей мере ежегодно. Это был одновременно и луг, на котором изредка подсеивались культурные травы, и свободная территория, необходимая для того, чтобы свозить сюда в дождливую погоду недосушенное сено с дальних лугов для окончательной просушки, пасти овец и маленьких телят, а заодно и для детских игр. Только в очень редких домах на этой территории разводили фруктово-ягодный сад. А запаханным приусадебным участком-огородом эта примыкающая непосредственно к дому территория стала только при колхозах, потому что иной земли в личном пользовании у колхозника не стало.

Когда я теперь мысленно восстанавливаю в памяти облик родной деревни, расположение и внешний вид ее домов, — новых и старых, свежевыкрашенных и посеревших, малых и больших размеров, — я прихожу к выводу, что до определенного временного рубежа деревня развивалась по восходящей, строилась и разрасталась, хотя и оставалась сравнительно скромной, мож-

но сказать, средней ингерманландской деревней.

Этим рубежом стало начало тридцатых годов, после чего ничего уже не строилось, а напротив, часть домов поновее разбирались и увозилась.

По виду домов, пока они еще оставались на месте, можно судить, как и когда они построены и каким образом это было связано со структурой семейных отношений в крестьянской среде в определенный исторический период.

В отличие от Восточной Карелии, где сравнительно долго сохранялась большая патриархальная семья, в которой, по воспоминаниям старых людей, могло насчитываться до трех десятков человек, живших под одной крышей и составлявших по существу цельный крестьянский род с представителями трех-четырёх поколений, в Ингерманландии начала века об институте большой патриархальной семьи даже воспоминаний уже не сохранилось. Хотя крестьянские семьи и были относительно многодетными, до семи-восьми и даже десяти человек, однако их структура была уже иной.

Если в семье несколько взрослых сыновей, то родители оставались жить в своем доме с одним сыном (или дочерью), а остальные сыновья, создав свои семьи, строили свои дома и отделялись от родителей. Именно таким образом разрасталась наша деревня, и в таком порядке появлялись новые дома.

У моего отца было три женатых брата, двое из которых жили в родной деревне. Один из них, дядя Антти, остался жить в родительском доме, построенном его отцом (моим дедом) довольно давно и находившемся примерно посреди деревни. Другой брат отца, дядя Юнни, отделился и построил дом в конце деревни, а напротив этого дома стоял наш дом, тоже на окраине. В самом конце двадцатых годов отец в ожидании женитьбы старшего из своих четырех сыновей построил новый дом рядом с собственным, хотя пожить в новом доме не пришлось — он был снесен после ссылки всей семьи. Такая же судьба постигла новый дом напротив, построенный одним из соседей для своего женившегося сына. Оба дома вместе с некоторыми другими домами были разобраны и увезены властями после ссылки хозяев.

Важно подчеркнуть и то, что в прежней разрастающейся ингерманландской деревне население оставалось коренным и финским. Именно они, коренные жители, составляли сельскую общину, в которой пришлых людей практически не было. Только невест брали со стороны, из других финских деревень, поскольку этнически смешанные браки тогда не были еще распространены.

В тогдашней ингерманландской деревне, в самом ее облике и обычаях жителей,

сочетались и традиционная замкнутость сельской жизни, и неизбежная ее подверженность влиянию большого города. Об этом еще не раз пойдет речь в связи с разными сторонами деревенского быта и местной этнокультуры.

Летом наша деревенская улица полуза-рстала травой-муравой — так мало было на ней проезжих и прохожих. В страдную пору деревня оставалась почти пустой, взрослые и дети были с утра до вечера в поле и на лугах, пололи и окучивали картошку, убирали сено, жали серпами хлеба.

И в то же время до Петербурга-Петрограда-Ленинграда было всего-то каких-нибудь двадцать пять километров, можно было уловить дыхание огромного города и легко поддаться искушению вкусить его соблазнов. Наш сельский район тогда назывался Пригородным, и этим многое было сказано. И когда репрессированных крестьян стали на первых порах выселять «за сто первый километр», как это называлось тогда на официальном милицейском языке, наш район оказался ближе этой границы, внутри которой многим не дозволено было жить.

В пригородных деревнях под Ленинградом — и финских, и русских — постепенно выработалась своя традиция строительства сельских домов, во многом отличающаяся от карельских и севернорусских деревень.

Если взглянуть на фотографии беломорско-карельских лесных деревень рубежа веков или на нынешние карельские деревни с сохранившимися старыми домами, они могут поразить внушительностью размеров, впечатляющей прочностью и толщиной срубов, количеством затраченного перво-классного строевого леса — в виде бревен, крепкого теса на кровлю, толстых и широких плах на полы и потолки. Но эти высокие, в два этажа строения стоят обычно без фундамента и потому со временем склонялись набок и, кажется, вот-вот совсем повалятся, потому что нижние венцы уже сгнили, хотя срубы еще внушительны.

Видимо, в Ингерманландии когда-то тоже строили таким образом и даже еще хуже, потому что там не было столь хорошего строевого леса, как в Карелии. Если посмотреть на этнографические рисунки ингерманландских крестьянских домов середины XIX века, то они производят отнюдь не величественное впечатление. Дома маленькие, из хливатых тонких бревен, без всякой обшивки, крыши соломенные, окна крошечные, крыльца почти нет, одна-две ступеньки. По свидетельству современников-очевидцев, тогда в ингерманландских деревнях были еще курные избы, как, впрочем, и в Карелии.

Но в первые десятилетия XX века многое в ингерманландском крестьянском строи-

тельстве и деревенском быте кардинально изменилось. Дома строились и обставлялись совершенно иначе, и разница заключалась не только в печах и дымоходах. Влияние оказывало, в частности, пригородное дачное строительство, деревянные здания при железнодорожных станциях, уездных и волостных центрах. Бревенчатые стены стали обшиваться вагонной доской и покрываться масляной краской, полы и потолки тоже красились, внутри стены оклеивались фабричными бумажными обоями; исчезали соломенные крыши, стали покрывать дома деревянной дранкой, а то и железом, что было признаком особого, хотя и редкого достатка; и в качестве высшего шика у домов стали появляться застекленные веранды с разноцветными стеклами.

И вдобавок ко всему дома стояли прямо, не кособочились, потому что у них был элементарный каменный фундамент — из валунов по углам, из известковых плит, которые добывались в карьерах недалеко от нас — у Ропшинского шоссе.

По сравнению с Карелией в Ингерманландии строительного леса было гораздо меньше, с ним обращались бережнее, дома строили более скромных размеров, более экономно использовалась площадь, но и тип построек был иной. Конечно, по нынешним европейским и даже российским жилищным нормам крестьянские дома на большие семьи в семь-восемь человек были тесноваты, детям да и взрослым стелили постели часто на полу, а зимой на печке. Но поскольку о лучшем не имели пока представления, как-то обходились, жизнь текла своим чередом. В отношении размеров семьи следует заметить, что крестьянки рожали даже больше детей, но детская смертность оставалась тогда еще весьма значительной, потому что врачебная помощь в деревнях практически отсутствовала. Люди рождались без врачей и умирали без врачей. Как правило, даже в голову не приходило ходить по больницам — не принято это было в крестьянской среде вплоть до тридцатых годов.

Конечно, люди жили неодинаково, одни лучше, другие хуже. В Финно-Высоцком было и несколько бедных семей, живших в маленьких домиках, хотя и эти домики были построены уже по-новому и покрашены. От эпохи соломенных крыш в деревне сохранился только один старый овин.

Стоял на самой окраине деревни, в противоположном конце от нас, и один кирпичный дом с крышей из оцинкованного железа. Там жила уже не совсем обычная крестьянская семья, хотя у них были поля и скот. Из этой семьи вышел первый в нашей деревне школьный учитель, о котором сохранились биографические сведения в сборнике статей о пятидесятилетии Колппанской учительской семинарии (1913), которую он

успел к тому времени окончить. Это Адам Сюкияйнен, родившийся в 1892 году в крестьянской семье Пиетари и Катри Сюкияйненов, жителей деревни Финно-Высоцкое. После двухклассной приходской школы он поступил в 1908 году в Колппанскую семинарию и получил через четыре года диплом учителя, после чего работал в школах прихода Хиетаямки. У него учились в школе в деревне Кяйвяря (приходском центре) некоторые из моих братьев, родных и двоюродных, а в первом классе учился, кажется, у него и я, хотя с абсолютной точностью не помню. К сожалению, как и многих, Адама Сюкияйнена постигла печальная судьба: в тридцатые годы он арестован и бесследно исчез.

В Финно-Высоцком была и другая семья Сюкияйненов, из которой вышел Йосеппи Сюкияйнен, вначале тоже сельский учитель

(в частности, в школе деревни Аннамойси прихода Хиетаямки), а впоследствии партийный и советский работник, занимавший важные посты в Карелии.

Когда в тридцатые годы начался разгром ингерманландской деревни, а заодно и ингерманландской интеллигенции, прокатились волны арестов, принудительных выселений и ссылок, многие пострадавшие с запозданием сожалели о том, что не догадались заблаговременно убраться из деревни, чтобы как-то зацепиться в огромном городе и затеряться среди его населения.

Некоторые из догадливых, возможно, и поступили так и тем самым спаслись от худших бед. Однако в массе своей тогдашнее крестьянство не могло по своей воле и охоте вдруг тронуться с места и переменить весь образ жизни — оно было слишком привязано к земле и родному дому.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЫТ

Ингерманландский крестьянский дом обычно делился на две половины — переднюю и заднюю (peräpuoli).

Передняя половина была одновременно кухней, столовой и хозяйственным помещением, где держали рабочую одежду и обувь, выполняли разного рода мелкие работы, особенно зимой. В ней была большая печь, в которой пекли хлеб, готовили пищу для семьи и теплое поило для скота. На печи сушилась мокрая одежда и обувь, в боковых «печурках» грелись детские варежки и носки, зимой на печи спали.

Ингерманландская крестьянка затапливала печь в четыре-пять часов утра ежедневно зимой и летом. На топку требовалась солидная охапка дров, печь топилась долго, за это время хозяйка приготавливала закладки в чугуны и горшки для варения, тушения и топления, потому что пища готовилась сразу на целый день — на завтрак, обед и ужин; она оставалась теплой в печи до вечера.

Особый раз в неделю выпекался ржаной хлеб, и для хозяйки это был особый день, чаще всего суббота. Уже накануне в деревянной кадке замешивалось тесто, а наутро с особой тщательностью выталапливалась печь. Угли выгребались с пода, зола выметалась метелкой из свежей хвои, и на чистой деревянной лопате приготовленные большие караваи отправлялись в жаркую печь, заслонка закрывалась. На неделю хлеб выпекался даже в две закладки, горячие ароматные караваи выстраивались рядами на столе, и тут уж дети просили отрезать им по ломту, а если давали еще и масло, то удовольствие было полным.

Для матери-хозяйки эти многочасовые

хлопоты у жаркой печи, по современным понятиям, — адский труд, пот лил с нее ручьем, она едва успевала управляться. Ведь на неделю крестьянской семье требовалось до пятидесяти килограммов хлеба, а перемережку с хлебопечением хозяйке надо и коров подоить, и завтраком всех накормить, и уборку в помещении потом сделать, потому что — суббота, и к вечерней бане все в доме должно быть чисто. В передней половине пол обычно не красился, его тщательно выскребывали добела голиком с песком, и вымытый пол был одним из признаков сельской субботы.

В передней половине дома у печи была всякая кухонная утварь — кочерга и ухват с длинными ручками, сковороды и противни, ведра и подойники, самовар и тушилка для углей. Посреди пола был люк в подвал, где хранились картофель и овощи.

Ближе к окну в передней нашего дома стоял длинный обеденный стол, за которым умещалось все семейство. У стены — высокий буфет фабричного производства с резными фигурками, там хранилась посуда преимущественно для праздников. Моя бабушка помнила еще время, когда в крестьянских домах ели и пили из деревянной посуды. В двадцатые годы посуда имела уже фабричная, керамическая, но ели еще из общих блюд и мисок — отдельных тарелок каждому не полагалось. В лучшем случае детям накладывали еду отдельно, взрослые ели из общего блюда.

Переходная стадия от традиционного сельского быта к полугородскому проявлялась и в еде, и в одежде, и в обстановке и содержании дома.

Мебель в ингерманландских крестьянских домах была уже городская, фабрично-го изготовления. Разве что в передней у стен в углу оставались деревянные лавки для сидящих за столом. Зато в более чистой половине дома, в которой обычно был еще отделенный дощатой стеной чулан с кроватью, вся мебель стояла городская. Сюда входили праздничный стол, венские стулья, диван, платяной шкаф и комод, высокое зеркало в деревянном футляре, металлическая кровать с никелированными шариками. В больших семьях, как уже говорилось, спали и на полу, чулан отводился обычно для взрослой дочери. Матрацы набивались соломой, которая периодически вытряхивалась и заменялась новой. Постельное белье еще не было в обиходе; оно, как и пружинные матрацы, пришло в деревню позднее. Подушки из куриных перьев домашнего изготовления, укрывались ватными одеялами. Так было в нашем доме и в большинстве крестьянских домов вплоть до тридцатых годов.

Традиционно-сельское и городское сочетались также в питании. От самодостаточного натурального хозяйства ингерманландская деревня ушла уже далеко.

Но основа в питании была все-таки своя. Своими были картофель и овощи, молоко и мясо, часть мучных и крупяных изделий. На зиму квасили капусту во вместительных деревянных бочках, а на лето загодя готовили кадки с солониной, потому что в теплое время скот не забивали и свежего мяса не ели. Кадки с солониной держали в леднике вместе с молоком, со временем она теряла вкус свежести и поднадоедала, но была необходима при тяжелых крестьянских работах. Свежее мясо появлялось поздней осенью, когда начинали забивать скот. Из свежего мяса варили супы, его тушили вместе с картофелем, традиционным был говяжий холодец, который готовили в больших количествах сразу на неделю. Про запас топили говяжье сало, которое потом застывало круглыми пластинами в тарелках и которым пользовались всю зиму в качестве основного вида кухонного жира, наряду с подсолнечным маслом. Сливочное масло в ингерманландских домах хозяйки готовили сами еще очень примитивным способом: в плотно закрытом кувшине сливки взбивались резким качанием рук до тех пор, пока не образовывалось масло. Сливки с молока тоже снимались вручную, понятия о сепараторах еще не имели. Поэтому сливочное масло потреблялось в крестьянских семьях нерегулярно, его готовили на особые случаи. Распространенной приправой для картофельных блюд были горячие мясные шкварки с салом или мучной соус с луком опять-таки на растопленном говяжьем сале. Свиное мясо было почти неизвестно, в нашей деревне свиной вообще не держали. Изред-

ка из города привозили на праздники свиные колбасы и ветчину.

Из традиционных крестьянских блюд упомяну еще овсяный кисель. Его готовили тоже впрок в большом количестве и могли есть целую неделю. Подобно мясному студню, застывший овсяный кисель разрезали на тарелке на куски, поливали растительным маслом, и это было вкусно.

Ну и, конечно, крестьянские домашние пироги. В ингерманландских домах они подразделялись на будничные и праздничные. Будничные пироги пеклись из ржаного теста с начинкой из капусты, картошки, моркови, брюквы. На праздничные пироги требовалась покупная пшеничная мука, их пекли с маком, яблоками, вареньями, рисом и изюмом, рисом и яйцами. Хозяйкам это доставляло огромные хлопоты, они затапливали печь еще раньше обычного и крутились возле нее по меньшей мере до полудня, но каждой хозяйке хотелось не ударить в грязь лицом, особенно перед гостями.

Не забыт был до начала тридцатых годов и обычай варить на праздники домашнее пиво из настоящего ячменного солода. Это тоже хлопотное дело и требовало умения, чтобы пиво получилось не только пьянящее, но и вкусное. Детям его давали пить густым и сладким еще до брожения, без алкоголя.

Многое было своим, но тем не менее без покупных пищевых продуктов в Ингерманландии давно уже не обходилось. Даже зерно приходилось покупать, потому что земли у крестьян традиционно не хватало. Из зерновых культур сеяли рожь, ячмень, овес. Свое и покупное зерно возили на мельницу, чтобы запастись мукой на целый год. Покупными были крупы — пшено, греча, рис. Те, кто ездили часто в город, привозили оттуда булki в качестве полулакомства. Из города — сахар и прочие сладости вроде дешевых леденцов, пряников, халвы; кроме чая, покупали ячменно-цикорные суррогаты кофе, а натуральный кофе был в нашей деревне практически неизвестен — то ли его не было тогда в продаже, то ли он был крестьянам не по карману.

Повседневная крестьянская пища проста, без деликатесов. Картошка, сваренная утром в большом чугуне на всю семью с запасом, подавалась на стол в мундире, хозяйкам чистить ее было некогда, только остатки чистили и клали в глиняном горшке в печь, чтобы съесть в обед горячей и подсушенной в растопленном сале или подсолнечном масле.

К праздникам отец привозил из города праздничную снедь, в особенности если ожидался гости: сыр, колбасы, шпроты в банках, треску. Треска в нашем доме — праздничная рыба, селедку ели в будни. Зимой в ингерманландские деревни привозили на санях мороженую рыбу из Белозерья, в

основном снеток, очень вкусный, который у нас варили в молоке. Это еще в период нэпа, рыбакам позволялось самим развозить и продавать рыбу. Таким же образом летом по деревням развезжали мороженщики, у которых можно было купить также детские игрушки — мячи, куклы, свистульки, пугачи с пистонами. Скуповатая крестьянская душа не очень щедрилась на подобные покупки, но все же ребяташки были знакомы и с мороженым, и с игрушками.

Одежду и обувь в деревнях носили уже преимущественно покупные, фабричного изготовления. Правда, крестьяне носили еще нижнее белье из домотканого полотна, и в хозяйствах сеяли лен. Уборка и обработка льна происходили вручную, и для женщин это была тяжелая работа. После этого следовало терпеливое сидение за прялкой и деревянным ткацким станом, что происходило обычно уже зимой. Своего ткацкого стана у моей матери не было, она занимала его на время у соседки и ткала, кроме полотна, также половики. Но мать имела свою швейную машинку фирмы «Зингер», и многое в доме шилось на ней — от нижнего белья для всей семьи вплоть до верхней детской одежды.

Взрослая одежда приобреталась в городских лавках, и в нэповский период выбор был богатый, не в пример тридцатым годам, когда в продаже остались почти одни ватные фуфайки, кирзовые сапоги и грубые ботинки с брезентовым верхом и плохо пришитой и ломающейся резиновой подошвой.

Молодые мужчины из ингерманландских крестьянских семей с достатком обзаводились в двадцатые годы даже дорогими лисьими шубами, кожаными пальто, костюмами-тройками со знаменитой «толстовкой», а иные и брюками-галифе с мягкими хромовыми сапогами. Также у моего отца и старшего брата появилась тогда одежда из очень высококачественного тонкого сукна, из которой и мне потом перешивали кое-что в силу крайней нужды, когда я учился уже в старших классах средней школы.

Этот крестьянский достаток отнюдь не доставался даром, он есть результат упорного и терпеливого труда — ежедневного, во все времена года, без отпусков и практически без выходных, ибо ухаживать за скотом приходилось и в воскресенье. Чтобы земледелец уходил летом в отпуск и на это время нанимал себе подмену, как это теперь принято в Финляндии, — о таком в Ингерманландии и понятия еще не имели.

Между тем нередко принято думать, что прежний крестьянин трудился в поте лица лишь летом, а зимой спал на печи. Для ингерманландской деревни это совершенно несправедливо, если вообще справедливо для любой другой.

Наряду с сезонными работами, были та-

кие постоянные круглогодичные работы, как уход за скотом и лошадьми. Зимой мужчины заготавливали в лесу дрова, вывозили на поля навоз, продавали в городе излишки урожая, ездили в извоз на заработки. По зимам женщины обрабатывали заготовленный лен, пряли и ткали полотно, обшивали детей, вязали для всей семьи теплые шерстяные вещи — варежки, носки, шарфы, платки, кофты, свитера.

Но наиболее тяжелая, разумеется, летняя страда, особенно некоторые виды полевых работ в сезон уборки урожая. Когда в единоличных хозяйствах хлеба жали еще серпами, женщины с некоторым страхом ожидали приближения жатвы, настолько было изматывающе и изнурительно убрать в короткий срок и рожь, и ячмень, и овес, и лен.

Мужчинам доставалось во время уборки и перевозки картофеля с полей, потому что в ингерманландских деревнях его выращивали много — и для семьи, и для скота, и для продажи. Картофеля собирали по двести-триста мешков на хозяйство, и после уборки все эти мешки надо погрузить на телегу, привезти домой, рассыпать на крытом дворе для просушки, вновь собрать, пересортировать и пересыпать в подполье дома для зимнего хранения.

Вообще трудовая крестьянская жизнь никогда не была идиллией. При этом не забудем старую истину: крестьянин-труженик выполнял даже самые тяжелые работы, когда видел плоды своего труда и мог сам воспользоваться этими плодами. А бесплодный труд извечно отбивал охоту трудиться. Ведь не только в «Капитале» Маркса, но еще в Библии утверждается, что полезный труд должен быть свободным, не рабским и подневольным. О муравье-труженике в Книге Притчей Соломоновых говорится: «Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложишь руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник» (Прит., 6:7-11).

Сама жизнь заставляла земледельца трудиться. Одна из самых тяжелых сезонных работ — молотьба, проходившая поздней осенью, когда картошка выкопана. Молотьба особенно запомнилась мне, потому что для ребяташек все тут очень необычно и интересно. Молотили еще вручную цепями, и к этому надо было хорошо подготовиться. Снопы с полей загодя свезены в овин, потом их загружали в отопляемую сушильню, огонь поддерживали всю ночь, и сам процесс топки очень привлекал мальчишек, они готовы были остаться там допоздна.

Рано утром все взрослые члены семьи, а иногда и соседи вдобавок, отправлялись на молотьюбу. Земляной пол в овине чисто выметен, на нем расстилали огромный брезент, хорошо просохшие, еще горячие снопы развязывались и укладывались на него, и в этих приготовлениях участвовали и дети: подтаскивали снопы и передавали их взрослым. Когда все расстелено в нужном порядке, взрослые становились в круг и принимались гулко бить цепами в заданном ритме, двигаясь друг за другом. Для детей — нечто вроде спектакля, а для взрослых тяжелый труд. В овине запах дыма и гари, с пола поднималась пыль, донимала жара, и с лиц капал пот. После первой партии обмолоченную солому убирали, зерно собирали в мешки и расстилали новую партию горячих снопов. Так продолжалось до полудня, люди возвращались с овина пыльные и черные от копоти, чтобы помыться, поесть и отдохнуть. Зерно нужно еще провеять и загрузить в амбар. Так обмолачивались все зерновые культуры. Обмолот происходил еще цепами, а веялки появились механические, но крутили их тоже вручную — по два человека за рукоять, другие засыпали зерно и убирали его. Впрочем, были в некоторых деревнях и ручные молотилки, которые надо крутить четверем человекам.

В детском восприятии самым светлым временем была пора сенокоса. В двадцатые годы в Ингерманландии имелись уже культурные луга и сеяные травы, главным образом клевер, вика и тимофеевка. Естественных лугов, кроме пастбищ, в нашей местности практически уже не было, луга перепаживались и засеивались многолетними травами, более урожайными и питательными.

Косили еще вручную косами; конные косилки — редкость, хотя кое-кто уже приобрел их. Не принято было скирдовать сено на лугах и оставлять его там до зимы. Высушенное сено свозили сразу же на сеновал и подворье, а в дождливую погоду привозили сырым и сушили у дома.

Луга находились поодаль от деревни, и туда выезжали очень рано, часа в четыре утра, чтобы косить по росе. Косили только мужчины, женщины и дети расстилали траву, днем переворачивали ее, вечером копнили либо помогали нагружать уже высохшее сено на подводу, все в надлежащем порядке. Детям в завершение всего было интересно прокатиться на сенном возу и попрыгать на сеновале, утаптывая сено.

Как-то мать перед отъездом всей семьей на сенокос оставила меня одного, пятилетнего, дома с тем, чтобы я выпустил наших коров с телятами в стадо, когда оно будет проходить мимо нас по пути на пастбище. Мать разбудила меня в четыре утра, а стадо проходило не раньше шести, и на мне лежала великая ответственность не уснуть

снова в течение этих двух часов ожидания и услышать вовремя звуки пастушьего рожка, которые были сигналом для деревенских хозяек. По наказу матери, мне достаточно только открыть ворота, и коровы с телятами сами выйдут и побегут в стадо, поскольку они заранее выпущены из стойла. Мне удалось-таки не проспять и услышать внезапный звук рожка, хотя от растерянности я не сразу смог открыть ворота, и пастуху пришлось помогать.

Пастухи в ингерманландских деревнях часто — весьма колоритные фигуры, выделявшиеся на общем местном фоне. По традиции в пастухи нередко нанимались выходцы из Финляндии, так делалось еще в XIX веке, и так это оставалось в нашей деревне в 1920-е годы.

Пастух у нас был молодой мужчина лет тридцати, отличавшийся от местных мужчин уже тем, что одевался он на особый лад, как принято в Финляндии, но не в Ингерманландии. Его будничная одежда — цветной жилет и шляпа, сапоги у него финского образца, а в сухую погоду он обувал на пастбище легкие самодельные пастушьи сандалии, наскоро сшитые из куска кожи или да же из голенищ старых сапог и завязывавшиеся у щиколотки шнурком. Такой обуви и одежды никто у нас в деревне больше не носил. Правда, при наеме пастуха ранней весной, когда не совсем еще сошел снег, крестьянское общество покупало ему в складчину набор рабочей одежды, куда входили и крепкие яловые сапоги, и брезентовый плащ-дождевик, но он любил пользоваться и своим привычным финским нарядом.

Пастуший рожок из бересты у него тоже особый, и длиннющий кнут метров в шесть-семь длиной, искусно сплетенный из узких кожаных ремешков таким образом, что у короткого кнутаовища плетя была потолще, а потом постепенно сужалась к концу. Длинная плетя заканчивалась чем-то вроде маленькой кисточки, так что при умелом взмахе плетя сначала змеей устремлялась вперед, а когда ее рывком отдергивали назад, раздавался резкий звук — словно выстрел из детского пугача, и это страшно занимало ребятшек. Пастух с рогом и плетью — наш кумир, мы хотели научиться его искусству, и он великодушно позволял нам поупражняться с кнутом, но дело обычно кончалось тем, что при взмахе длинная плетя ударяла самого упражняющегося по спине. Для пастуха же такой щелкающий, как пугач, кнут необходим для того, чтобы одним щелканьем призывать коров и телят к порядку: как только соберется бычок-неслух углубиться в лес или в ржаное поле, тут же раздавался пастуший окрик с щелчком кнута, и нарушитель возвращался в стадо.

Между тем традиционный социальный

статус пастухов в аграрном обществе оставался невысок, их считали едва ли не самыми последними неудачниками и несчастливцами в жизни. Если крестьянский сын шел в пастухи, для семьи это считалось унижительным. Еще в фольклоре, в народных песнях и сказках, пастушья доля всегда изображалась с глубочайшим сочувствием и состраданием. Сострадательностью был отмечен издревле и сам образ пастуха едва ли не во всей мировой культуре. Ведь и в Библии страдавшая Богородица находит последний приют именно у пастухов в пещере, и Сын Божий рождается в яслях. А в знаменитой ингерманландской «Песне Маталены» Христос является в образе нищего и презираемого пастуха для того, чтобы открыть моральную истину и выразить сочувствие убиенным.

В нашей деревне едва ли кто в мое время помнил народные руны о рабе-пастухе Куллерво, которые некогда записаны в Ингерманландии и считаются по традиции «самым ингерманландским» фольклорно-эпическим сюжетом. Но несчастливый удел пастуха был по-прежнему памятен.

Униженность пастушеского статуса заключалась в том, что пастух — наемный работник и хозяин мог им понукать. Идеал в аграрном обществе — владение землей и независимое положение земледельца.

С точки зрения социальной психологии наш деревенский пастух тоже по-своему ущемлен судьбой. В Ингерманландию такие молодые люди приезжали из Финляндии потому, что на родине у них как раз не было земли и приюта. По финским законам даже в семьях крестьян-собственников усадьба не дробилась между всеми наследниками, а передавалась во владение старшему сыну; остальные же сыновья, получив свою долю наследства деньгами, должны искать счастья где-то в другом месте. А кроме того, были еще торпарские и батрацкие сыновья, чьи родители вообще не имели своей земли. И часть этих людей оказывалась в ингерманландских деревнях, где они нанимались не только в пастухи, но и плотничали, сапожничали или занимались другим ремеслом. Некоторые женились на местных женщинах и оставались жить постоянно в деревне.

А наш пастух в цветном жилете и лихо надвинутой, хотя и потертой шляпе был своего рода вольной птицей и не задерживался подолгу на одном месте. Он заявлялся в деревню где-то уже ранней весной, в марте-апреле, неизвестно откуда, и чувствовалось, что он очень нуждался в приюте еще до начала пастушеского сезона. Крестьяне договаривались с ним о плате и других условиях, кормили его и давали ночлег. Плата полагалась отдельно за каждую корову, теленка, овцу, и каждый хозяин платил соответственно. Окончательные расчеты произ-

водились в конце сезона. Все время пастух кормился и ночевал поочередно в каждом доме определенное количество дней, скажем, по неделе. Хозяйка каждого дома должна была заботиться о нем, хорошо накормить рано утром и поздно вечером, а на день дать с собой тоже достаточно сытную и обильную еду. И надо сказать, хозяйки боялись не угодить пастуху, ибо он, пользуясь случаем, был весьма требователен к еде. Не дай Бог, если он распустит по деревне слух, что такая-то хозяйка кормила его тухлыми яйцами или несвежим мясом. Пастух остер на язык, не скупился на слова, и хозяйки очень боялись быть ославленными им, стыда и позора потом не оберешься. Пастух знал об этом и соблюдал, как мог, свои интересы. Это был его способ самоутверждения и самозащиты, отстаивания своего человеческого достоинства и, если угодно, даже маленькой местию — насмешка над теми хозяйками и хозяевами, которые считали его жизнь не вполне удавшейся и благообразной.

В детском восприятии, да отчасти и в нынешнем моем представлении, давний образ нашего деревенского пастуха окружен романтикой и какой-то тайной. Он приходил весной неизвестно откуда, а осенью уходил неизвестно куда с заработанными деньгами искать другого пристанища, может быть, кутить с такими же приятелями, как он сам, пока в кармане оставались весомые наповские рубли.

Ингерманландские крестьяне даже в единоличном хозяйстве, еще до колхозов, не держали большого стада. В лучшем случае в индивидуальном подворье имелось по две-три коровы, по бычку на мясо осенью и зимой, до десятка овец. Настоящим молочным хозяйством занимались больше эстонские крестьяне, проживавшие в западной Ингерманландии. В деревнях ближе к Петербургу-Ленинграду сказывалось, видимо, более жесткое малоземелье, для крупного молочного стада не хватало кормов.

Требовалось содержать еще и лошадей. В хозяйствах покрепче было по несколько лошадей, причем одну старались иметь специально для выездов, а не для тяжелых полевых работ или для гужевого извоза на стороне. Для выездов на легкой рессорной двуколке с резиновыми шинами на колесах лошадь выбирали по породистей, больше похожую на беговую, и такими лошадыми хозяева очень гордились друг перед другом, это был вопрос престижа. На рысаках и рессорных двуколках ездили по праздникам в церковь, в гости к родне в другие деревни, в будни по делам в какую-нибудь районную или сельсоветскую контору, а то и в город.

Зимой, когда для этого находили больше времени, одной из забот была заготовка дров на целый год.

Настоящих лесов в наших местах уже не осталось, их давно вырубил строительство, — может быть, еще в XVIII веке, когда строились Петербург и пригороды. Вокруг деревень, полей и пастбищ росли только мелкие ольховники, осинники и березняки, посреди которых лишь изредка попадались деревья покрупнее.

Ингерманландские крестьяне, как правило, рубили на дрова сырую ольху, которую рубить было не запрещено и которой вроде бы на всех хватало. Возы мелкой ольхи привозили по санному пути к дому, рубили и складывали в поленицы, чтобы за лето дрова высохли. Кто не заботился об этом загодя, тот топил печь сырой ольхой, от которой она сильно дымила и не давала нужного жара.

Другая зимняя забота, уже под весну, вывозка навоза на поля, что легче давалось по санному пути. Это тоже входило в строгий аграрный ритм крестьянской жизни, требовавшей все делать своевременно.

В наших местах крестьяне не занимались охотой и не искали в ней ни добычи, ни удовольствия и отдыха.

Неким соединением труда и азарта был грибной сезон. Даже при напряженных сельскохозяйственных работах люди не могли отказать от того, чтобы не пособирать вдоволь грибов. В наших осинниках их росло в иные годы великое множество. Отец рассказывал, что в его молодости за грибами ездили целыми семействами даже на лошадях и привозили возами не столько для себя, сколько для продажи в городе. Мой отец был заядлым грибником и в сорок-пятьдесят лет; в грибную пору он отправлялся в лес ежедневно, причем очень рано, еще до света, чтобы к рассвету оказаться первым на заветных местах. Это было в его натуре, опоздать он не мог, и отчасти эту привычку к таким грибным походам усвоил от него и я.

К семи-восьми часам утра отец уже возвращался из леса с огромной корзиной красных подосиновиков, как на подбор молодых и плотненьких, еще поблескивавших лесной влагой. Это суточные грибы, то есть выросшие за одни сутки, поэтому они не успевали стать большими и малопродуктивными. Их собирали ежеутренне, и именно такими молоденькими они больше ценились. Белых грибов в наших осинниках почти не попадалось, подберезовики брали только в бедные грибные годы для домашней сушки, так что красные молодые грибы — по традиции коронные грибы Ингерманландии. В собственной семье их потребляли сравнительно мало, крестьянский труд требовал более сытной пищи, а про запас солить и мариновать грибы не было в обычае. Грибы на продажу хранили день-другой в леднике и отправляли возком в город.

Мальчишки постарше и молодые парни ходили иногда ловить форель в лесных речках, куда она попадала, видимо, из парко-

вых прудов, где ее специально разводили еще с царских времен. Парни ловили форель весьма своеобразным способом, которого я потом нигде больше не встречал. Из конского волоса сплетались тоненькие петли, которые привязывались к концу не длинной палки, и поскольку лесные речки были узенькие и форель водилась в ямах поглубже с очень прозрачной водой, многократно профильтрованной мхами, темную волосную петлю старались подвести к медленню плывущей рыбе и при удаче вытащить ее быстрым рывком. Подобное занятие для парней обычно являлось лишь воскресной забавой, много времени для забав в будние летние дни юному поколению ингерманландцев тогда не полагалось — занимались основными хозяйственными работами.

Наверное, из-за грибной страсти отца и воскресных рыболовных походов старших братьев, которым тогда было по 14-17 лет, лес почему-то манил меня в самом раннем возрасте, как только я помню себя. Наверное, мне не было еще и пяти лет, когда я однажды летним днем направился к ближайшему лесу в полукилometре от дома, чтобы не торопясь познакомиться с ним, поискать грибов, а может, увидеть и рыбу в речке. От опушки я углубился недалеко, но устал от ходьбы, присел на мшистую кочку и уснул. Сладко поспав часок — кочка в изголовье, я проснулся и не сразу понял, где нахожусь. Внимание привлекли лесные звуки, мне почему-то с ранних лет нравился шум деревьев, и когда потом вспоминалось об этой детской и навсегда сохранившейся привязанности к лесному шуму, я удивлялся тому, что во мне это проснулось без всякого влияния сказок или приключенческих книг, которых в детстве мне никто не читал. И лесная романтика литературного склада с Робин-Гудами и странниками-отшельниками была в тогдашней сельской среде совершенно неизвестна и чужда ей. И все-таки что-то таилось в нашем роду, издавна связанное с лесом, недаром же у нас такая лесная фамилия.

То ребячье странствие закончилось благополучно. Спросонья я не сразу смог понять, где нахожусь. Обратная дорога нашлась не сразу, я поплутал и поревел немало в испуге, но все-таки двинулся вперед. Я стал кричать в надежде, что кто-нибудь услышит, но ответа не услышал. Вдруг слух уловил слабый звук коровьего колокольчика, и я пошел в направлении к нему. Вот показалось и стадо, затем и пастух, увидевший меня в слезах. Он чуть проводил заблудшего по тропе, пока не показались крайние дома деревни, и я сам уже побежал к ним. Оказалось, что в своих блужданиях я обошел деревню полукругом и приблизился к ней с другого конца, где мне еще редко приходилось бывать.

Ребьячьему миру было куда расширяться.

ОТЕЦ

Будет понятнее, если сначала мой рассказ пойдет об отце и затем о матери; через их характеры и судьбу проявятся некоторые черты ингерманландской жизни.

Моего отца (1878 — 1943) звали в деревне по-фински Хенну, как и одного из братьев моей матери. Я до сих пор не знаю, как этот народный вариант мужского имени был в полной форме зарегистрирован в церковных книгах при крещении.

Зато на русском языке имя отца воспроизводили в официальных документах по-разному — в зависимости от того, из какой первоначальной формы и из какого языка это ингерманландское народное имя выводили. В русских документах отец значился и как Генрих (от немецкого Heinrich), и как Генрик (от скандинавского Henrik), и даже как Андриан (от французского Henri, производимого и передаваемого по-русски как Анри).

Так что отчества у шестерых детей моих родителей были в русских документах разные: и Генрихович, и Генрикович, и Андрианович, словно мы были от разных отцов.

К этому следует добавить, что и наша финская фамилия Karhu воспроизводилась в официальных документах по-разному: и как Карху, и как Каргу, а в моем заграничном паспорте она и сейчас имеет в параллельном написании на латинском алфавите мудреную французскую форму: Karkhou. И когда я бываю в Финляндии, мне до сих пор приходится объяснять, откуда у меня в паспорте такая странная для финна фамилия и почему наши чиновники-паспортисты записали ее не по-фински, а по-французски, пытаясь транскрибировать ее промежуточную русскую форму.

Отец был на десять лет старше матери, хотя мы, дети, не очень замечали эту разницу. Жизнь их обоих была нелегкой, и все же в многодетных крестьянских семьях женская доля — тяжелей, потому что ни уход за детьми, ни заботы по дому не освобождали крестьянку от всех страданий работ на полях. Отец с матерью и умерли почти одновременно во время войны в эвакуации в Киргизии, отец годом раньше матери.

Глава семьи, отец, создал себя ответственным за ее благополучие. Ему полагалось вести все денежные дела в семье, и даже в самые трудные и голодные годы в хибинской ссылке взрослые дети приносили отцу свой заработок, чтобы он спланировал скудный семейный бюджет самым разумным образом. Он никогда не просил деньги в долг у соседей, поскольку считал это слишком унижительным. Мать находила его скуповатым, ей приходилось долго уговаривать его потратиться на что-то такое, что ка-

залось ей обязательным, и он в конце концов соглашался, если позволяли деньги.

И вообще в жизни отец придерживался довольно строгих правил как для себя, так и для домашних. По натуре сдержанный, он, хотя мог подчас и вспылить, не преступал границ. В обращении с детьми он никогда не прибегал к физическим наказаниям, и мы это хорошо усвоили, но тем больше боялись его немногословных устных выговоров и сердитого взгляда. Гораздо проще было получить шлепок от матери или даже быть высеченным прутиком из голика за какую-нибудь мелкую провинность. Мать после такого наказания могла сама заплакать вместе со своим чадом и уже мягко сказать, чтобы больше такого не повторялось. С отцом же было страшно неудобно и одновременно совестно. Натворив что-нибудь, я уже заранее мучился и боялся, как он на меня взглянет.

В крестьянском быту родителям некогда беседовать с детьми в воспитательных целях — воспитывал труд и весь уклад деревенской жизни. Мои родители, тем более отец, не отличались многословием. И родительская ласка выражалась не столько в словах, сколько в реальной заботе. Сюсюканьем с детьми ингерманландские матери не грешили: набор нежных слов невелик, целовать детей не принято (тем более чмокаться взрослым мужчинам друг с другом). Разве что в первых образованных ингерманландских семьях традиционно-крестьянское обращение с детьми стало постепенно меняться. На моей памяти крестьяне были еще очень скупы на словесную похвалу, ребенок скорее по выражению отцовского лица догадывался, что им довольны.

Из самого раннего детства запомнились предпраздничные хлопоты, в которых иногда принимал участие и отец. Перед летними праздниками, когда семья собиралась в гости либо ожидала гостей, отец устраивал коллективную чистку обуви. Дети присутствовали при этом, и чистка превращалась в маленький спектакль. Отец доставал откуда-то застарелый гуталин и щетку, брал первый детский ботинок и нарочито бойкими движениями старался навести лоск, приговаривая в такт движениям что-нибудь веселое. А когда церемония с обувью кончалась, отец мог в завершение еще придумать нечто, видя ребячье ожидание продолжения родительской ласки. Он брал сына за ручки, ставил ножками на ступню своей ноги, закинутой на другую ногу, и тихо качал его минуту-другую, опять-таки сопровождая качки прибаутками. Похоже, такие мгновения в моем детстве выпадали редко и потому запомнились.

Отец курил, но почти совсем не пил, только с гостями, и гости при нем тоже соблюдали меру. Ни взрослому сыновьям, ни тем более женщинам рюмка за семейным столом не полагалась. Сыновья могли тайком попробовать где-нибудь вне дома, но не при отце. То же самое было и с курением.

Между тем отцовское курение почему-то очень интриговало меня в раннем детстве, когда мне было лет пять-шесть. Отец имел обыкновение курить много, когда ему надо было над чем-то серьезно подумать. Только потом я уразумел, какие это могли быть думы, когда после непомерных налоговых притеснений нас лишили имущества и отправили в ссылку.

Помню, выпадали такие часы, когда я лежал, свернувшись клубком на диване, а отец, совершенно не замечая меня, ходил долго взад-вперед из угла в угол по комнате и курил папиросу за папиросой. Я глядел на него во все глаза, а он даже не видел меня и продолжал ходить. Эти кольца дыма и беспрерывное хождение казались мне каким-то таинством, и когда он наконец вышел из комнаты, оставив в цветочном горшке много окурков, мне захотелось точно так же походить взад-вперед хотя бы с потухшим окурком в зубах, без колечек дыма. Но и дым нестерпимо заманчив, и однажды в полутемном углу прихожей я попытался зажечь спичкой окурок, но огонь от спички тут же пополз вверх по сухому мху сруба, и я чудом догадался — в испуге — сбить ползущее пламя метлой. В деревнях были известные пожары от детской неосторожности с огнем.

Вкус алкоголя довелось узнать в детстве нечаянно. Как-то в летнюю страду сразу после праздников я остался один дома, захотел есть и нашел в буфете нарезанные куски селедки с холодной картошкой; мне вздумалось налить уксуса из бутылки рядом, но это оказалась водка, и я едва отплевываясь, а содержимое тарелки постарался выбросить во двор, чтобы никто не узнал про мою оплошность, как и про эксперимент с окурком и спичкой. С ранних лет у маленького человечка накапливаются свои тайны, о которых он никому не может рассказать. Под влиянием матери, глубоко религиозной женщины, в детстве я тоже веровал; и кроме наших общих ежеутренних молитв, я после какого-либо проступка молился с чувством вины еще в одиночку, прося у Бога не только простить меня, но и сохранить тайну от родителей. Это был уже маленький детский расчет, в чем раскаиваюсь.

Как я теперь понимаю, мой отец с его двухклассным образованием (тогда, в конце XIX века, когда он учился, приходские школы были двухклассными и даже одноклассными) отличался незаурядным при-

родным умом. Это стало постепенно открываться мне еще в мои школьные годы, особенно после того, как я в хибинской ссылке перешел из финской школы в русскую и еще совсем не знал русского языка.

Опыт жизни у отца соединялся с редкостной сообразительностью. Он много помогал мне по русскому языку, разбираясь в его непривычной для финского уха фонетике и в грамматических формах. Да и в математике он удивлял тем, что с его двухклассным образованием он решал многие мои арифметические и алгебраические задачи шестого-седьмого классов в уме и давал правильные ответы, совпадавшие с ответами задачника. Когда я спрашивал его о способе решения, он улыбался не без удовлетворения и отвечал, что решал практической «прикидкой», исходя из условий задачи. Алгебраических правил он не знал, но пользовался практическим умом, сметкой сообразительного и логически рассуждающего человека. Сейчас, по прошествии лет, я убежден, что, если бы ему посчастливилось получить хорошее образование и действовать и строить свою судьбу в нормальных условиях, он сделал бы очень много полезного.

Впрочем, поставленный в жесткие условия хибинской ссылки, отец не очень полагался и на образование своих детей. Уже большой и больше неспособный к тяжелым физическим работам, он, бывало, говорил мне, когда я учился в старших классах средней школы и намекал на свое желание учиться дальше: «Все учишься и учишься, но, видно, не дожидаться от тебя ни хлеба, ни табака». К сожалению, его грустный упрек оправдался: уйдя в семнадцать лет в армию в начале войны, я больше его не увидел и ничем не помог.

Вместе с тем, в школьные годы мои отношения с отцом отнюдь не являлись идиллическими, мы много спорили, сидя ежедневно часами в нашей тесной барачной комнате, — я, готовя уроки, а он потому, что уже не мог работать и оставался все время дома. Во мне говорила мальчишеская ершистость, ведь в школе мне внушали с первого класса новую идеологию по принципу «раньше — и теперь», то есть раньше все было плохо, а теперь все хорошо и будет еще лучше. Для пожилого уже человека, пусть даже не интеллигентского, а простого крестьянского воспитания, но под конец жизни оказавшегося в барачном клоповнике, где были теснота, смрад и разноязыкая ругань, вынужденного есть промерзшую полугнилу картошку с самыми дешевыми крупками и плохим маргарином, эта пропагандистская похвальба представлялась по меньшей мере преждевременной, а лично для него и бессмысленной, поскольку жизнь уже прожита. Но для меня, пацана, это не имело значения, я твердил, как учили

в школе, что мы строим новое общество, что трудности только временные и что скоро все будет в лучшем виде. Словом, как писал в песне: «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей».

Наши споры с отцом иногда кончались тем, что он сердито совал мне в руки хлебные карточки на всю семью со словами: иди-ка лучше постой в хлебной очереди.

Не так ли наша проправительственная пропаганда расхваливает и сегодняшнее состояние общества и его неуклонное движение вперед, которое, однако, не для всех благо. Нас снова учат великому терпению, упрекают забастовщиков и закрывают глаза на нищих, просящих на людных местах милостыню.

По жестокой иронии судьбы многие ингерманландские крестьяне, в том числе и мой отец, пострадали именно за то, что теперь, когда мы вступили в свободное царство рыночной экономики, возведено на пьедестал высшей добродетели: предприимчивость и умение торговать.

Провозглашенная Лениным в 1921 году новая экономическая политика предполагала временное развитие мелкотоварного крестьянского хозяйства и частной рыночной торговли, замену так называемой продразверстки продналогом. То есть у крестьянина уже не изымали принудительно все излишки урожая, как было при военном коммунизме в период 1918 — 1920 годов, а крестьянин мог часть урожая продать после выплаты определенного налога в виде натуральных продуктов — зерна, картофеля, молока, мяса и т.д. Это была вынужденная спасительная мера в разоренной и голодной стране, призванная дать хоть небольшой простор частной инициативе для оживления экономики.

Уже с самого начала нэп замышлялся с хитрым расчетом, что сразу же после оживления экономики будет смена политического курса и усиление «наступления на капиталистические элементы деревни».

Может быть, с точки зрения политико-экономической это и был деловой расчет, но каково миллионам людей, оказавшихся его непосредственными жертвами? Для миллионов человеческих судеб это стало жестокой ловушкой, прежде всего потому, что смены курсов осуществлялись через насилие, любой ценой и любыми средствами.

На свою голову ингерманландские крестьяне откликнулись на призыв учиться торговать и развивать рыночные отношения.

Впрочем, возможно, еще до 1917 года некоторые крестьяне в нашей деревне занимались скупкой скота, его забоем и поставкой мяса в Петербург. В нэповские годы эта деятельность оживилась, ею занялся и мой отец, наряду с земледелием. Он увидел в этом прибыльный промысел и, поскольку

жил по правилу: не откладывая на завтра то, что сможешь сделать сегодня, приступил к делу и довольно успешно.

Занятие это не из легких. Скот закупали преимущественно зимой, нужно было объехать на лошади десятки деревень в радиусе до ста километров, правильно оценить при закупке упитанность и вес скота, пригнать его домой, забить и отправить мясо в город — все сделать быстро, профессионально, со знанием рыночной конъюнктуры.

Все делалось на вполне законной основе: приобретался патент, платились налоги, соблюдался контроль за качеством мясопродуктов. Едва ли ингерманландские крестьяне читали партийные постановления, но правила торговли они усвоили из практики. Да и считать стало легче: после продолжительной денежной инфляции и оказавшихся бесполезными «керенок» новый нэповский рубль окреп и стал полноценным. Хорошая корова стоила в пределах пятидесяти рублей, молочный теленок в три раза дешевле. В деревнях закупщиков скота и называли «телятниками», потому что больше всего они закупали телят, свежее мясо которых пользовалось спросом на рынке.

Словом, ингерманландские «нэпманы» становились профессионалами в своем деле, у них водились кое-какие деньги, легче было содержать большую семью, растить детей. Можно не жить впроголодь, чувствовать себя относительно независимым от количества собранного урожая на бедных землях и ограниченных площадях. Конечно, существовал определенный финансовый риск, как и риск физический. После гражданской войны на дорогах случались разбойные нападения на торговцев. Моего отца однажды пытались остановить на проселочной дороге двое грабителей, но лошадь рванулась от них, выстрел вслед не достиг цели.

Тем не менее без рынка и добывания денег ингерманландский крестьянин уже не мог жить рядом с городом и при сокращавшихся земельных площадях. Реальностью стал все возрастающий товарный обмен. Колхозный строй в том виде, в каком он вскоре установился, не отменил в принципе товарного обмена, но сделал его для крестьянина более неравноправным, противостественным и унижительным: крестьянин теперь отправлялся в город не с возом мяса, а с последним литром молока от единственной коровы в надежде обменять молоко на буханку хлеба.

От нэповского времени и крестьянским детям выпадали маленькие радости. Правда, их и тогда не баловали ни яркими игрушками, ни нарядной одеждой, ни сладостями, но кое-что новое они все-таки увидели. Поскольку отец довольно часто ездил в город, дети ожидали подарков и давали всякие на-

казы, хотя ожидания не всегда оправдывались. Кроме глиняных свистулек, дудок и волчков, помню большую деревянную лошадку на колесиках, на которую можно сесть верхом, а однажды отец привез оранжевые детские валенки, запомнившиеся своим необычным цветом.

Он и себе купил высокие белые валенки тонкой и мягкой катки из хорошей шерсти. В деревне такие валенки носили только в праздники и считались особым шиком. Больше таких валенок у него никогда уже не было.

МАТЬ

Мою мать (1888 — 1944) звали Марией, по девичьей фамилии Пуранен, и родом она из деревни Алаколяя прихода Хиетамяки. В той же деревне жили три ее брата с семьями, и их жен, моих тетушек, тоже звали Мариями, всех троих. И все трое были на моей памяти вдовами, потому что братья матери умерли еще до моего рождения сравнительно молодыми, где-то в период гражданской войны или вскоре после нее.

В домах моих вдовых тетушек я видел на стенах увеличенные фотографии их мужей в деревянных рамках. Все они в солдатской форме, в шинелях и фуражках царской армии. Такую же фотографию я видел в доме вдовой сестры моего отца в деревне Рюэмя, которую тоже звали Марией. В детстве я думал, что все мои умершие дядья погибли на войне — либо на первой мировой, либо на гражданской. Но это оказалось не так, в армии они успели отслужить еще раньше и умерли уже дома от каких-то болезней и слишком тяжелой жизни в период гражданской войны, когда в некоторых деревнях наступил настоящий голод в связи с частыми реквизициями продуктов у крестьян в пользу той или иной власти, красных или белых. В те же годы умер и муж сестры моей матери, тетушки Катри, жившей с детьми в деревне Малые Горки прихода Ропша. Так что в пору моего детства все семь родственников с материнской стороны оказались вдовыми семьями с детьми постарше меня, выросшими без отцов, и потому некоторые жили сравнительно бедно.

Что касается имен, женских и мужских, у ингерманландских крестьян, то у людей старшего поколения они восходили в основном к библейским именам и оставались преобладающими вплоть до начала XX века. Ниже приведу некоторые из них в той диалектной форме, в которой они чаще всего употреблялись в сельском обиходе: Аати (Адам), Эва (Ева), Ааппо (Авраам), Иосеппи (Иосиф), Юнни (Иоанн), Матти (Матфей), Пекка (Петр) и т.д. Имена менялись с поколениями. В первые десятилетия двадцатого века распространенными мужскими именами стали Але (Александр), Тойво, Суло, Вяйне; из женских — Айно, Ольга, Лиза, Лемпи, Хилма. В двадцатые-тридцатые го-

ды крестьяне стали называть своих детей Сайми, Тойни, Тюнэ, Рейно, Ройне, Эйно, Эйнари и даже Альберт. Впрочем, при крещении советчиками были лютеранские священники, придерживавшиеся примерно тех же традиций и новых веяний по части имен, которые наблюдались и в Финляндии.

В отличие от отца, посещавшего церковь больше для приличия, не будучи особенно богомольным человеком, моя мать была глубоко верующей и, кроме церкви, принадлежала также к местной религиозной общине, проводившей свои отдельные богослужения.

Здесь уместно напомнить некоторые сведения о лютеранской церкви и религиозных движениях в Ингерманландии, особенно в приходе Хиетамяки.

Лютеранская церковь в Хиетамяки была построена в 1755 — 1758 годах, в 1893 году ее обновили. Все это время Хиетамяки числился капелланским приходом в составе прихода Туутари, а с 1897 года стал самостоятельным. Деревянная церковь была на 540 мест, включая боковые ярусы, заполнявшиеся обычно молодежью — справа юноши, слева девушки. При церкви приходское кладбище.

Священниками в ингерманландских церквях обычно служили миссионеры из Финляндии, там же получавшие богословское образование. Сохраняя финляндское гражданство, они пользовались в ингерманландских пасторатах строениями и землей, вели хозяйство. После 1917 года церковное имущество конфисковали, пасторов вынудили обслуживать приходы наездами, читая в один и тот же приезд проповеди в разных церквях. К концу двадцатых годов их деятельность все более ограничивалась властями, их стали высылать из страны без права въезда.

Последним и наиболее активным пастором, оставившим о себе память в Ингерманландии, был Ялмари Лауриkkала (1874—1957), чья деятельность началась еще в 1909 году. Он читал проповеди и в финских, и в эстонских приходах, владел эстонским языком. В двадцатые годы — из-за нехватки священников — он отправлял богослужения в пяти-шести приходах, включая Хиетамяки,

где его хорошо знали и долго помнили. Первый раз власти его задержали и выслали из страны в 1927 году, но он смог вскоре вернуться и продержался еще десять лет, вплоть до 1937 года, когда ему предложили в трехдневный срок покинуть страну без права возвращения. Деятельность лютеранской церкви в Ингерманландии тогда полностью запретили, и одновременно было прекращено обучение на финском языке в школах, издание финских газет, журналов, книг.

Эти запреты коснулись и внецерковных религиозных течений, о которых дает представление книга Микко Коломайнена «Инакомыслящие в Ингерманландии» (1989). Речь идет о различных религиозных общинах в рамках лютеранства, которые возникали, однако, не по инициативе церкви, а скорее даже вопреки ей, усилиями странствующих проповедников, не имевших церковного сана. Толчком становились чаще всего внецерковные религиозные течения, получившие распространение в Финляндии. Еще в XVIII — первой половине XIX века значительная часть населения Финляндии была охвачена влиянием пиетистского движения (*herännäisyysliike*), конфликтовавшего с официальной лютеранской церковью. Позднее, во второй половине XIX века, особенно в северных районах Финляндии распространилось так называемое лестадианское движение (по имени проповедника и автора религиозных книг Л. Лестадиуса). На рубеже веков возникли общины евангелистов и баптистов.

Странствующие финские проповедники навещали и в ингерманландские приходы, находя себе приверженцев. В первые десятилетия XX века стали возникать местные религиозные общины со своими внецерковными молельными домами. В 1920 году создали «Союз христиан-евангелистов Ингерманландии» с баптистской проповеднической направленностью. Появились разногласия с официальной церковью по части религиозных ритуалов. Евангелисты считали недостаточным церковный ритуал крещения только новорожденных, полагая, что в младенчестве еще невозможно сознательно приобщиться к Богу и посвятить себя подлинной вере в христианские идеалы. По баптистско-евангелическому уставу истинное сознательное крещение надлежало принимать с восемнадцатилетнего возраста.

За ритуальными различиями скрывалось стремление проповедников религиозных общин и их приверженцев преодолеть слишком формальное и канонизированное отношение официальной церкви к христианскому учению, открыть в нем для себя особенно его нравственную сторону, обострить свое личностное восприятие нравственных заповедей. А для этого желательно не просто посещать церковь ради соблюдения

приличий, а старательно вчитываться в Библию, особенно в Новый Завет, в апостольские Евангелия, и на этой основе вести собеседования с единоверцами, которые по отношению к официальной церкви являлись своего рода «иноверцами» и «инакомыслящими». Как пишет М. Коломайнен в своей книге, лютеранская церковь научила прихожан просто *читать* Библию, а евангелисты учили их *понимать* прочитанное в духе истинного христианства и своих воззрений.

Перечисляя в своей книге внецерковные молельные дома в ингерманландских приходах и поименно называя некоторых проповедников непосредственно из местного населения, М. Коломайнен упоминает и приход Хиетамяки. По его словам, у евангелистов в этом приходе имелся свой хор, а местом их собраний был приобретенный ими крестьянский дом в деревне Роспеека (порусски: Разбегай). Собирались евангелисты и в других деревнях прихода Хиетамяки, в обычных крестьянских домах, а в числе странствующих проповедников в книге приводится имя Марии Катая, женщины родом из деревни Каприо в приходе того же названия. Как сообщается в книге, ее арестовали в тридцатые годы, отправили в сибирский концлагерь, откуда освободили после смерти Сталина; она уехала в Эстонию и там же скончалась.

И пастор Ялмари Лауриkkала, и проповедница Мария Катая — это знакомые мне с детства имена и лица, а в деревне Роспеека (точнее в Райккоси, которая вплотную примыкала к Роспееке) жила наша родня, брат моего отца с семьей, и я там часто гостил во время школьных каникул. Успев побывать в раннем детстве несколько раз в нашей приходской церкви, я запомнил пастора Лауриkkала в лицо и по всему его облику, и когда потом много десятилетий спустя увидел в финских книгах его фотографию, то сразу же узнал — именно таким он стоял на церковной кафедре в своем пасторском одеянии во время того памятного рождественского богослужения, на котором я был вместе с отцом.

Это, наверное, первое мое посещение церкви — во всяком случае первое запомнившееся, очень раннее богослужение в первый день Рождества. Накануне отец включился вместе со всеми в домашние приготовления к празднику, потому что ожидалась гости, — именно с рождественского богослужения они и должны приехать вместе с нами. Так заведено. В приходской церкви во время богослужений родственники и знакомые из разных деревень встречались, узнавали новости, говорили о делах, заранее приглашали друг друга в гости на праздники. Ведь уехать всей крестьянской семьей с детьми на несколько дней в гости в другую деревню вовсе не просто — на кого-то надо

оставить дом и уход за скотом, да и принимающая сторона должна заранее приготовиться.

Так и на этот раз. Принимать гостей была наша очередь. Уже в течение примерно недели в доме шли приготовления к Рождеству и гостебе. Делалась уборка дома, устанавливалась рождественская елка, закупалась в городе праздничная снедь, готовились заранее холодные закуски, варилось пиво, выпекался свежий хлеб, в самый канун праздника пеклись пироги, а в рождественское утро мать встала еще раньше обычного, но в церковь с нами не поехала, а осталась дома, чтобы приготовить на день обильную горячую еду и накрыть к приезду гостей стол.

В тот канун Рождества, когда мы всей семьей в присутствии отца украшали елку, вешая на ветви по обычаю не только игрушки, но и яблоки, конфеты, пряники в форме рыбок и лошадок, которые потом дети съедали вместе, я долго упрашивал отца взять меня утром с собой в церковь, когда он поедет за гостями. Отец не очень шел в подобных случаях на уступки, но тут в конце концов согласился, потому что дошло до слез, и мать сказала: возьми ты его. Мне было года четыре или пять, о церкви я только слышал рассказы, сколько там горит свечей, сколько собирается людей и сколько крестьянских упряжек окружает церковь во время праздничных богослужений. От рассказов ребячье воображение разгоралось, хотелось увидеть все собственными глазами.

В церковь обычно выезжали очень рано, не позже шести часов, и я знал об этом. Хотя мать и обещала разбудить меня, но я не очень доверял обещаниям — скажут потом, что жаль будить, слишком крепко спал. В тот вечер я улегся на печи в надежде, что проснусь сам от утренних хлопот матери на кухне и сборов отца. Такое с крестьянскими детьми бывало, когда они просыпались на печи от света керосиновой лампы, звона чугунов и противней, запаха блинов или пирогов, — протерев кулачком глаза, они осознавали, что день начался, и просили что-нибудь поесть прямо на печке еще до завтрака.

Уж не помню, сам ли я проснулся в тот раз или меня действительно разбудили, но в церковь мы с отцом поехали. Он запряг в легкие санки лучшую из наших двух лошадей.

В церкви я увидел люстру, свисавшую с потолка, со множеством горящих свечей, алтарь с изображением Христа, возвышающуюся слева кафедру священника, ряды скамеек с проходом посередине и над ними ярусы, вдоль которых у перил тоже горели свечи. Для ребенка наша скромная и посеревшая от времени приходская церковь была сказкой, ничего похожего он до этого

еще не встречал. Потом, но тоже в очень раннем возрасте, еще в конце двадцатых годов, я оказался в церкви летом на погребении кого-то из нашей близкой родни, уже не помню кого. Но освятивший могилу пастор Лауриккала вновь запомнился. Потом, в тридцатые годы, довелось увидеть его несколько раз во время ритуальных отправлений, всегда в одинаковом одеянии: черная пасторская мантия, белый накрахмаленный воротник.

В то рождественское утро мы с отцом вернулись из церкви с гостями. По приезде отец отвел в конюшню и лошадь гостей, убрал сани, и началось совместное празднование, длившееся три дня. Между прочим, тогда праздничной закуской, кроме колбас, шпрот, сыра, считалась также отварная соленая треска в масле и уксусе. Детям в праздники варили рисовую кашу с изюмом, подслащенные макароны, компоты и ягодные кисели. На праздничный завтрак мать часто готовила горячее крошево из сваренных вкрутую яиц со сливочным маслом — это золотистое с белизною крошево намазывали на ломти пшеничного хлеба.

Дети играли с детьми гостей в доме и на дворе. Было совсем весело, если в компании бегал еще маленький щенок, прибавлявший азарта в играх. Кувыркались на снегу, катались на санках с горки, после чего одежда сушилась на печке, а то и сами отогревались и отсыпались на ней.

На третий день гости начинали собираться домой, запрягали лошадь и прощались до следующей встречи в какой-нибудь из праздников. Так принято было поддерживать родственные отношения.

Наибольшая нагрузка в приеме гостей ложилась на мать; она и сама иногда ездила с нами в гости, посещала церковь. Но у нее имелся еще свой круг знакомых из соседних деревень по религиозной общине, и изредка ее гости-единоверцы собирались у нас на собеседования.

Приходили почти исключительно женщины, числом до десяти человек, и вместе с ними была Мария Катая, которая вела эти собеседования. Она не походила на некую аскетическую проповедницу не от мира сего, отличалась живостью характера, приносила с собой гитару и аккомпанировала, когда пели песни. Гитару я увидел тогда впервые, как, вероятно, и все остальные в деревне, и гитара произвела на многих впечатление. Мой старший брат Ааппо, которому тогда было около двадцати лет, даже принял мастерить нечто вроде струнного инструмента, а брат Александр, еще мальчиком ближе всех вошедший в круг знакомых матери, купил впоследствии, уже в Хибиных, мандолину, чтобы научиться играть религиозные мелодии с помощью откуда-то появившегося самоучителя.

Александр — самый близкий для матери сын, она особенно жалела и пестовала его еще и потому, что он родился в голодном 1918 году и в младенчестве, по ее словам, много болел из-за плохого питания. Один или два грудных ребенка у матери умерли, об этом я слышал не очень ясные для меня разговоры в семье.

Похоже, к горячей вере, доходившей до экзальтации и слез, ее привели какие-то душевные встряски, пережитые в связи с голодом, смертью всех ее четырех братьев и ее собственных грудных детей. От несчастий не находила много утешения, кроме обращения к Богу. И когда в первые годы родительской ссылки Александр и я оказались в отрыве от семьи, причем тринадцатилетний Александр среди совсем чужих людей в чужой деревне на положении пастушка-сиротки, для матери это тоже что-то значило и не раз заставляло плакать и молиться. В деревне, в которой пас коров Александр, не было нашей родни, и хотя бы изредка присмотреть за ним и ободрить его могли только подруги матери по ее вере, и они сопровождали меня вместе с другими детьми ссыльных, когда после трехлетней разлуки я вернулся к родителям в Хибины.

Насколько я теперь понимаю, собеседования единоверцев матери в нашем доме и в других местах имели прежде всего нравственную цель, укрепляли взаимную нравственную поддержку на основе христианской этики. Это в известном смысле становилось нравственным противостоянием разжигаемому социальному антагонизму в тогдашней деревне, а вместе с тем и частичное неприятие охватившего многих крестьян изповского практицизма.

На своих встречах женщины беседовали и пели, мать угощала их чаем и ужином, иногда некоторые из них оставались ночевать. Во время этих встреч отец, как правило, находился либо в отъезде, либо куда-то специально отлучался, чтобы не мешать собравшимся. Он не запрещал матери собраний, но и не участвовал в них — его практическому уму не находилось здесь пищи.

В жизни же матери эти встречи были очень важными, они поддерживали ее зыбкое душевное равновесие. После них она ходила какая-то растроганная и просветленная, будучи не в силах сразу вернуться к будничным делам по дому. Встречи стали для нее некой отдушиной от практицизма крестьянского быта, груза повседневных забот. Отец как человек практического склада ума думал больше о материальном благополучии семьи, а мать заботилась и о душе — получалось как бы неосознанное разделение родительских обязанностей.

Также преподносившиеся детям нравственные уроки в некотором смысле различались. Как-то отец послал меня, еще не пони-

мавшего толком по-русски, купить ему папирос, и по ошибке сдачи мне дали лишку, после чего он велел отнести знакомой продавщице излишек обратно. Мать же, когда в нашей трудной жизни в ссылке я ходил в школу в заплатанных штанах, утешала меня: не стыдись заплат, лишь бы чисто и аккуратно было.

Мать больше отца была приучена к бедности. И в праздники у нас чаще появлялись родственники отца, мы тоже обычно ездили к ним, а не к родственникам матери, где жили вдовы семьи, которым, наверное, не до гостей. К нам приезжала на неделю-другую с детьми сестра матери, вдовая тетушка Катри, жившая в бедности, и мать жалела ее, старалась помочь.

Крестьянское милосердие проверялось на деле. По ингерманландским деревням ходили нищенки за милостыней, в том числе из соседних русских деревень, и тогда их звали «венакко» (русские). Подаяние нищим для сельских хозяек — моральная норма, и мать строго придерживалась ее в силу своей евангелической веры.

В обычаях времени было давать приют странствующим цыганам, которых даже в организованном порядке размещали зимой на временный постой в крестьянские дома. Летом, если они и навещали деревни для гадания и милостыни, то не задерживались и двигались дальше. А зимой их привозили целыми семьями с детьми на недельный постой, распределяли по домам, а через неделю хозяева увозили их в следующую деревню. Этот порядок — что-то среднее между организованным общественным призерением с моментом обязательности и добровольным христианским милосердием. Помню цыганскую семью у нас в доме, хлопоты с кормлением и ночлегом, бурный темперамент и словоохотливость гостей. Между прочим, тогдашние цыгане, навещавшие нас, умели говорить по-фински, и это свидетельствовало о том, что Ингерманландия была более или менее постоянной территорией их странствий. Также в Финляндии довольно много цыган, и они борются за свои права национального меньшинства.

С самого раннего детства мать учила меня начинать день с молитвы. Она ставила меня на колени и просила повторять вслух за собой «Отче наш». Молитву я скоро запомнил наизусть и до определенного возраста покорялся материнской воле. Даже после трехлетней разлуки с матерью, когда никто меня так богомольно не опекал, я вновь вернулся послушно к ежеутренним молитвам вместе с нею. Конфликты начались где-то в пятом-шестом классе, когда мне стало известно, что большинство моих сверстников вовсе не молятся и даже смеиваются над молящимися. Набожность таяла и от

школьных учебников, от всей окружающей жизни. Возникли сомнения и даже стыд, что ты не такой, как все. Мать уговаривала меня не вступать в пионеры, видя в красном галстуке символ безбожия, но оказалась бес- сильна. Она пробовала даже наказывать розгой, когда я говорил, что больше не хочу становиться на колени, но потом заплакала и пообещала, что не будет заставлять силой, лишь бы я рос хорошо.

Разумеется, уже в самом раннем детстве материнские требования не ограничивались одними молитвами. Сейчас даже удивление берет, сколь серьезная помощь в хозяйстве ожидалась от совсем маленьких детей. Как-то отец купил на забой корову, которая на деле не оказалась яловой, а принесла теленка. За один удой она давала по целому ведру молока, и мать не захотела расставаться с нею. Но такую корову надо хорошо кормить. Однажды мать послала меня поасти ее несколько часов на уже замерзшем озимом поле с зелеными всходами ржи. Я еще не ходил в школу, то есть мне не было шести лет. Поле находилось в полукилометре от дома, туда корова шла охотно на длинной привязи и жадно ела зеленые всходы, но обратно домой никак не хотела возвращаться, как я ее ни тащил. Она недовольно и упрямо волокла меня за собой, я плакал, но ничего не мог поделать с этой громадиной. Спасибо, проходивший неподалеку сосед услышал мой плач и помог привести корову домой. За мной наверняка пришли бы, но ребенку и один час в одиночестве на замерзшем поле показался вечностью.

Обычным для крестьянских детей в летнее время было также гонять лошадей в ночные табуны, где они паслись стреноженными. Уже трех-четырёхлетний карапуз садился верхом на лошадь, падал, ушибался,

снова садился, осваивая науку езды и добиваясь родительского доверия, чтобы ему позволили одному отвести лошадь в общий деревенский табун.

От детей ожидалась помощь, потому что взрослые работали не покладая рук. Сидеть просто так крестьяне не привыкли и не умели. Неким отдыхом для матери было плетение кружев, ей это нравилось. В деревне ее искусство украшало собственный дом, а в ссылке стало источником небольшого приработка, поскольку находились заказчицы.

Мать заметила, что меня — пятилетнего — заинтересовало ее чтение Библии, вернее, сам процесс чтения, то, как из букв складываются слова. Читала она в редкие минуты досуга, но тут принялась показывать мне буквы и читать медленно по складам, так что за какой-нибудь месяц я научился читать и стал проситься в школу. Шесть лет мне исполнилось только в конце ноября, но учитель приходской школы, к которому мать привела меня, согласился зачислить новичка в первый класс. То было осенью 1930 года.

До сих пор у меня хранится та материнская Библия, которая досталась мне от покойной сестры. Теперь я читаю ее иначе, чем много десятилетий тому назад у окна в нашем деревенском доме, но то детское чтение по складам по-прежнему освящено в моей памяти образом матери, многогрудальной ингерманландской крестьянки.

Юность часто не в меру дерзка и эгоистична в своих суждениях о предках, но годы приносят хотя бы частицу более глубокого и всестороннего понимания.

Остается в силе старая истина: «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы» (Прит. 20:20).

МОЛОДАЯ ПОРОСЛЬ

Прежние крестьянские семьи в большинстве своем многодетны, и ингерманландская деревня двадцатых годов не страдала отсутствием молодежи, в отличие от современной деревни, где нередко остаются доживать свой век одни старики. В тог- дашней деревне были представлены в естественной полноте все возрастные группы и поколения — от грудных младенцев до прабабушек и прадедов.

Массовый уход молодежи из деревни не успел тогда еще начаться. Это придет позднее, и никакой «беспаспортный» ограничительный сельский режим не сможет этому помешать. В силу тогдашней социальной психологии еще не было принято в двадца-

тые годы уезжать в город на постоянную работу или на учебу без намерения вернуться.

Кроме крестьянской привязанности к земле предков, в ингерманландской среде действовали еще и этнические скрепы, способствовавшие сохранению деревни. Скажем, учитель, получив педагогическое образование на финском языке, возвращался в ингерманландскую школу, поскольку иных финских школ не имелось, за исключением Карелии.

Особенность ингерманландской деревни и процессов быстрого ее разрушения в дальнейшем заключалась в том, что к социальным переменам (коллективизация сель-

ского хозяйства, индустриализация и урбанизация в масштабе всей страны) там прибавились массовые насильственные этнические депортации населения еще в начале тридцатых годов и затем полный запрет, полная приостановка всей национальной жизни в 1937 году.

Ингерманландская деревня рухнула под тяжестью этих ударов, рассеялась и исчезла на глазах, и восстановить ее как живую, полноценно функционирующую этническую и национально-культурную целостность уже невозможно, да никто и не пытался восстановить.

Между тем, еще на рубеже XIX-XX веков стала осознаться необходимость быстрого развития и переустройства ингерманландской национально-культурной жизни в целях сохранения этнической целостности. Наиболее дальновидным людям становилось ясно, что культурное развитие в новых условиях уже не может довольствоваться только традиционной этнокультурой, хотя и должно опираться на нее. Для того чтобы сохраниться как народность, современное национально-культурное развитие должно было обрести новые формы, получить новые возможности, стать наравне с веком. К сожалению, при сложившихся в дальнейшем неблагоприятных обстоятельствах этого не случилось, национально-культурное развитие пошло по нисходящей к трагическому финалу; в условиях репрессий, запретов и русификации молодые поколения быстро забывали родной язык.

В двадцатые годы сельская молодежь в Ингерманландии сохраняла еще нечто от традиционной этнокультуры, двуязычие не получило широкого распространения; русским языком владели немногие, родной финский оставался для большинства молодых если не единственным, то все же основным языком.

В отличие от Карелии, следы языческой культуры в Ингерманландии, по меньшей мере в деревнях прихода Хьетамяки, в двадцатые годы практически уже не ощущались; древние мифы и эпические руны, если они когда-нибудь и бытовали там, уже забылись. Из устной традиции сохранялись колыбельные и хороводные песни, крестьянская речь насыщена поговорками, детей забавляли загадками-отгадками.

Из традиционных обычаев, еще соблюдавшихся в двадцатые годы, следует упомянуть молодежные игры летом у деревенских качелей. Для детей качели могли устраиваться и во дворах или перед домом, а молодежные качели устраивались в некотором отдалении от деревни где-нибудь на поляне в лесочке, подальше от родительских глаз. На гулянья в воскресные вечера у качелей собирались парни и девушки, они качались и пели, водили хороводы, танцевали.

Иногда наведывалась молодежь из соседних деревень.

Зимой местом сбора молодежи могла быть пустующая деревенская изба. Некоторые крестьяне имели по две избы в одном подворье, зимнюю и летнюю. Последняя пустовала зимой, с согласия хозяев молодежь убирала, украшала и отапливала ее для гуляния и хороводов.

Парни зимой собирались тайком от родителей в теплой бане по субботним вечерам после того, как все уже помылись. Там они играли допоздна в карты, а иногда баловались и выпивкой. Пьянства в современных размерах в деревнях еще не было, с выпивкой даже пьяницы осторожничали, запретного плода стыдились. К тому же с пьянством не согласовывался напряженный ритм тогдашнего крестьянского труда.

Жива была еще традиция масленичных увеселений. Молодежь каталась по деревне и окрестностям, в сани запрягались лучшие лошади в лучшей упряжке — случай, когда молодому хозяину можно всенародно похвастаться своим конем.

Для маленьких детей соблюдался обычай вербного воскресенья. Дети ходили с пучком вербных веток по соседним домам, приветствовали хозяев заученными словами, стишками или песенками и награждались сладостями. Так и взрослые исполняли долг соседской вежливости и религиозный обряд. Помню, и меня мать посыпала с вербными ветками, поучала, что надо сказать при входе к соседям, но легко было все перепутать, хотя и в этом случае кулечек со сладостями маленькому гостю все-таки доставался.

Вплоть до начала тридцатых годов при лютеранских приходских церквях функционировали конфирмационные школы, дававшие юному поколению элементарные знания о христианской вере. За многие века сам обряд конфирмации вошел в народную культуру, он символизировал и освящал переход юношей и девушек в статус взрослых людей. К акту конфирмации и первому причастию готовились, это был праздник, девушки приходили в нарядных белых платьях, юноши в темных костюмах.

Однако в новых условиях XX века все эти сохранившиеся этнокультурные традиции уже не решали всей проблемы современной национальной культуры и ее будущности. Они оставались еще в некоторой степени самодостаточны в замкнутом пространстве прежней ингерманландской деревни-социума в окружении других этнокультур. Но когда замкнутое пространство разомкнулось и реальностью стали мощные культурно-языковые влияния, собственная культура на родном языке должна была в общем соревновании многих культур стремительно развиваться в духе нового времени.

Но этого, к сожалению, не произошло.

Едва ли не главным звеном и узловым пунктом всех проблем в национально-культурном развитии является постановка народного образования на родном языке. Это осознавалось лучшими людьми ингерманландской культуры уже в начале XX века, еще до 1917 года. И чтобы дать представление об эволюции школьного образования в Ингерманландии, в том числе в приходе Хиетамяки, остановлюсь кратко на его истории.

В 1913 году вышел юбилейный сборник статей, посвященный 50-летию Колппанской учительской семинарии, сыгравшей важную просветительскую и культурно-историческую роль в жизни Ингерманландии. Сборник был подготовлен преподавателями семинарии и окончившими ее школьными учителями, он насыщен интереснейшими и малодоступными для современного читателя сведениями об истории школьного образования в Ингерманландии начиная с конца XVIII века. Вернее сказать, сюда входит и предыстория возникновения собственно народных школ, появлению которых как раз и способствовало основание учительской семинарии в Малой Колппане в 1863 году.

Как известно, начиная со средневековья долгое время единственным образованным сословием было духовенство, и Ингерманландия не составляла в этом смысле исключения. Духовенство же распространяло элементарную грамотность в народе. С незапамятных времен лютеранская церковь организовывала конфирмационные школы, где в течение одного-двух месяцев пономарь или младший священник рассказывал молодым прихожанам о катехизисе и содержании Библии, учил основным молитвам, а со временем сюда стали входить и азы грамоты. Церковь требовала, чтобы детей обучали чтению родители, но среди крестьян грамотные родители до возникновения народных школ были редкостью. Были еще так называемые странствующие школы (*kierrokoulut*), под которыми подразумевалось обучение крестьянских детей чтению пономарем или другим мало-мальски грамотным человеком, странствовавшим из деревни в деревню, дававшим задания своим подопечным и периодически проверяющим их выполнение.

Не следует упускать из виду, что на ранней стадии, в период предыстории собственно народных школ, умение читать еще не обязательно предполагало и умение писать, одно с другим еще не всегда увязывалось — грамотеем мог считаться и умеющий только читать.

Любопытно, что и первая школа в Ингерманландии, основанная в 1785 году в деревне Малая Колппана, входившей в имение наследника российского престола Павла, бу-

дущего императора Павла I, еще не нацеливала учеников на обязательное умение писать. Правила гласили, что нужно научиться читать по-фински и по-русски, а те, у кого было на то желание и способности, могли научиться и писать. Школу создали для обучения детей крестьян имения и для прислуги Гатчинского дворца наследника престола; прислуга состояла во многом из местных финнов. Мысль о создании школы подал, видимо, пастор местной церкви Т.Х.Эльге. Первым учителем был Пиетари Райккерус, — как полагают, крестьянин из прихода Хиетамяки, где такая фамилия была распространена (одна из деревень называлась Райккоси). Ученики содержались в школе бесплатно, учителю полагалось жалование 77 рублей в год и девять мешков зерна; содержание выдавалось из средств дворца. Школа помещалась в обычной крестьянской избе, где жил и учитель вместе с семьей. Словом, каждый занимался своим делом: ученики пытались читать, члены семьи учителя хлопотали по хозяйству, да и сам учитель то чинил обувь, то налаживал сани во дворе, оставляя воспитанников на время без надзора. Примерно в таком виде школа в Колппане существовала еще долго, вплоть до середины XIX века, и учителями были грамотные местные крестьяне.

Другой ранней финской сельской школой в Ингерманландии была основанная в 1839 году школа в приходе Хиетамяки, в деревне Кяйвяря, в которой находилась и приходская церковь. Без малого сто лет спустя в первый класс этой школы ходил и я, так что я хорошо ее знал. Школа находилась как раз напротив церкви, примерно на том же месте, что и сто лет тому назад. И церковь тоже стояла на прежнем месте, в сорокапятидесяти метрах от школы.

Инициатором этой школы в Хиетамяки в 1839 году был церковный пробст Сакари Финнандер. Поскольку школу предполагалось содержать на средства прихожан, их пришлось долго уговаривать. Чтобы детей не отрывать от работ по хозяйству, школу обещали сделать воскресной, и платить надо было всего три копейки за ученика, но и на это согласия крестьян получить не удалось. Школу все-таки основали, она получила помощь из благотворительного фонда и церковной кассы, а учителем пробст назначил грамотного местного крестьянина Юхана Кяйвяряйна.

Несколько позже, в середине XIX века, публично обсуждался вопрос о создании системы народного образования, сети народных школ в Ингерманландии, для чего следовало организовать подготовку учителей. При этом влияние оказывали дискуссии на эту тему в Финляндии, с которой сохранялась связь. Однако требовалось преодолеть инертность не только властей и части духо-

венства, но и крестьянства, еще не познавшего пользы образования.

Весьма существенную роль в организации народного образования и в Финляндии, и в Ингерманландии сыграл Уно Сигнеус, выдающийся финский педагог, считающийся «отцом финских народных школ». В период 1846-58 годов он жил в Петербурге, являясь лютеранским священником и имея отношение к школам столичного лютеранского прихода Св. Марии. Он выступал со статьями в финских газетах об организации народных школ и выдвигал практические инициативы. В 1858 году царское правительство разрешило создать первую в Финляндии среднюю школу на финском языке в городе Ювяскюля, а в 1863 году в том же городе основана первая учительская семинария, ректором которой стал Уно Сигнеус.

С 1863 года ведет свое начало и Коллпанская учительская семинария в Ингерманландии, которую возглавил молодой Фредрик Оскар Гроундстрём, тогда еще студент Хельсинкского университета, сын ингерманландского пастора. У него имелся некоторый педагогический опыт, до этого он был преподавателем шведской церковно-приходской школы в Петербурге.

Интересно ознакомиться с правилами Коллпанской семинарии, высочайше утвержденными российским государем 30 июня 1864 года. Целью семинарии была подготовка учителей церковно-приходских школ, церковных канторов и регентов-органистов. В семинарию принимались юноши в возрасте от 15 до 20 лет, при поступлении они должны были уметь читать и писать по-фински и по-русски, пересказывать прочитанное, знать наизусть катехизис Лютера и иметь представление о библейской истории, знать четыре арифметических действия и быть примерного поведения и внешне аккуратными. Семинаристы принимались на полное бесплатное обеспечение, кроме одежды, и жили при семинарии. Учились они три года, в числе учебных дисциплин были религия, финский и русский языки, математика с основами геометрии и практических землемерных работ, география, история, естествознание, педагогика, пение и органная музыка.

В первый год существования семинарии набрали группу в 12 человек; наборы повторялись через каждые три года; со временем группы численно возрастали и к началу XX века насчитывали до 30 человек. За пятьдесят лет Коллпанскую семинарию окончил около 230 человек, в большинстве они стали школьными учителями.

Среди окончивших семинаристов — выходцы из деревень прихода Хиетамяки: Адам Руотси, Туомас Матикайнен, Ааппо Раппу, Пекка Мейер, Сантери Райккерус, Вильё Райккерус, Тойво Хейкинени и уже

упоминавшийся Адам Сюкияйнен из деревни Финно-Высоцкое, окончивший семинарию в 1912 году и бесследно исчезнувший в 1930-е годы после ареста.

Из прихода Хиетамяки (деревня Каукааси) был родом и Пиетари Тойкка, занимавший должность директора Коллпанской семинарии в 1885-98 годах. После начальной школы в деревне Аннамоиси (приход Хиетамяки) он окончил лицей в финском городе Ювяскюля и затем Хельсинкский университет.

Выходец из прихода Хиетамяки (деревня Лаакала) и Яакко Раски, один из последующих директоров Коллпанской семинарии (1904-1912). Воспитанный ею, он затем продолжил образование в классическом лицее в Выборге, в Хельсинкском университете, в Сортавальской учительской семинарии.

На примере этих людей видно, как происходило зарождение ингерманландской интеллигенции, еще очень малочисленной, но уже формировавшейся. Все они крестьянские сыновья из ингерманландских деревень и стали интеллигентами в первом поколении, просветителями своего народа, из которого они вышли. Некоторые из них получали образование в Финляндии, откуда же усваивали идеи национального пробуждения. Но их волновала именно Ингерманландия и судьба ее народа, задача просвещения ингерманландской деревни, сохранения и развития родного языка и культуры.

В свое время, в 1840-е годы, финский философ и публицист Ю.В. Снельман выдвинул свой главный тезис национального пробуждения, гласивший: единственным спасением финского народа от постепенного исчезновения со страниц истории является всемерное развитие национальной культуры и просвещения в самом широком смысле, начиная с создания современного литературного языка и финских школ вплоть до общественно-политического воспитания нации и проведения практических реформ.

Как вспоминал Пиетари Тойкка, родом из Хиетамяки, идеи Снельмана слышали и в Ингерманландии. О себе и своем призвании Тойкка говорил: «Во многом это была заслуга Снельмана, что я пришел в Коллпанскую семинарию. Его пылкие речи так живо повлияли на меня, что я зажегся желанием сделать что-либо на благо моих несчастных соплеменников, потомков раба Куллерво. Получив приглашение возглавить семинарию, я воспринял это как указующий знак свыше, что мне надлежит делать». Пиетари Тойкка продолжал: «Внутренний голос во мне говорил: «За дело! Трудись ради народа <...>. Учи и воспитывай крестьянских детей, закаливай их для борьбы с тьмой, насилием и гнетом. Сделай из них распространителей света в народных школах Ингерманландии».

Конечно, масштаб просветительной работы в Ингерманландии оставался еще очень скромным, она только начиналась. И сама Колппанская учительская семинария выглядела не слишком представительной (новое, двухэтажное здание было построено в 1906 году); крохотные сельские школы в приходах долгое время оставались всего лишь одно-, двух-, реже — трехклассными. Но все же их число возрастало и к 1913 году достигло 229. К концу XIX века в разных деревнях прихода Хиетаямки функционировало семь школ.

На рубеже столетий в культурно-просветительном движении в Ингерманландии произошли существенные сдвиги, что было обусловлено во многом изменением общественно-политической обстановки в России и в автономной Финляндии. Приближались революционные события 1905-1907 годов.

В ингерманландском культурно-просветительном движении появились новые тенденции; если в XIX веке оно опекалось исключительно лютеранским духовенством и официальной церковью, то начиная с рубежа столетий все явственнее стала заявлять о себе молодая интеллигенция светского направления, с симпатиями к демократическим силам и борьбе рабочих масс.

Следует учитывать и то, что, кроме финского населения в сельских приходах Ингерманландии, непосредственно в Петербурге с самого его основания накапливалось немало и все возрастающее число жителей-финнов. На рубеже XIX-XX веков их было около тридцати тысяч, а некоторые исследователи доводят это число до сорока и даже до восьмидесяти тысяч человек. Часть их составляли переселившиеся в город ингерманландские финны, но основную массу — постоянно жившие в Петербурге финны из автономной Финляндии, сохранявшие свое финляндское подданство.

Культурной жизни этой относительно компактной «финской колонии» в Петербурге посвящено исследование Алло Юнтунена «Финская культура на берегах Невы» (1974). В число жителей-финнов входили люди разных профессий и социальных слоев; немало ремесленников — портных, сапожников, столяров, жестянщиков, ювелиров, часовщиков, оружейников, переплетчиков, красильщиков текстиля, поваров. Большинство из них имели свои мастерские, а некоторые и лавки. Кроме того, были служанки, извозчики, дворники, трубочисты, фабричные рабочие, небольшое количество рабочих-железнодорожников, поскольку путь от Финляндского вокзала в Петербурге до финской границы обслуживался финскими железнодорожниками.

Другой слой финского населения Петербурга составляла более обеспеченная публика — священники, преуспевающие пред-

приниматели, высшие чиновники из финляндских ведомств в Петербурге, а также профессиональные военные, служившие в российской армии.

Для этого слоя были учреждены некоторые льготы в смысле получения образования. В разных учебных заведениях Петербурга (Пажеском корпусе, армейских и морских кадетских училищах, юридической школе, лицейх и гимназиях, Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц) учились дети преимущественно из дворянских финляндских семей. С этой целью российскими властями установлены постоянные квоты по приему воспитанников в каждое из названных привилегированных учебных заведений (по приводимым А.Юнтуненом данным, общая квота для Финляндии составляла 57 мест). Учреждена также система стипендий для финских студентов в Петербургском и Московском университетах.

Напомню, что в Петербурге родились либо воспитывались и учились некоторые известные деятели финской культуры — например, писатель Арвид Ярнефельт и его брат, художник Эро Ярнефельт (их отец Александр Ярнефельт — генерал русской армии, получивший военное образование в Петербурге); писатели Илмари Кианто, Бертель Грипенберг, Эдит Сёдергран, Тито Коллиандер, братья Оскар, Ральф и Генри Парланды, театральные режиссер Эйно Калима, его брат, филолог-славист Яло Калима.

Петербургскую «финскую колонию» объединяло прежде всего лютеранское вероисповедание — она составляла один общий столичный финско-лютеранский церковный приход с красивым каменным храмом св. Марии на Большой Конюшенной улице. У прихода имелись свои финские школы в разных местах города, к концу XIX века их насчитывалось уже десять. Это начальные двух- и трехклассные школы (инспектором был в свое время как раз Уно Сигнеус). Для более солидного образования некоторые дети из финляндских семей (например, Эдит Сёдергран) учились в немецких школах Петербурга — ведь северная столица представляла собой довольно «космополитический» город с пестрым разноплеменным населением.

Наряду с церковно-приходскими школами, среди финского населения Петербурга со временем возникли разные благотворительные и общественные организации, способствовавшие развитию культурной жизни. По примеру европейских стран и Финляндии создали общества трезвости, женские благотворительные объединения, хоровые, просветительные, спортивные общества. У них накапливались кое-какие финансовые средства для организации культурных мероприятий, они вносили в культурную жизнь организационное начало. Наиболее матери-

ально обеспеченное и дееспособное — благотворительное общество, возглавляемое бароном Т.Брууном, занимавшим должность управляющего финским паспортным ведомством в Петербурге. Это было объединение «аристократического уровня», обладавшее средствами для организации гастролей финского театра в русской столице, для устройства концертов с финскими музыкантами, певцами и хорами.

Заслуживает упоминания и то, что в Петербурге работали три финские типографии, две финские книжные лавки специально для литературы на финском (и шведском) языке, включая и книги финских авторов, и финские переводы русской и мировой классики.

В Петербурге основаны и первые финские библиотеки для местных финнов, в том числе библиотеки при школах. Как отмечает Алпо Юнтунен в своем исследовании, петербургским финнам были доступны не только произведения Ю.Л.Рунеберга, Сакари Топелиуса, Алексиса Киви, Юхани Ахо, Минны Кант, но и новейших писателей рубежа века — Теуво Паккала, Илмари Кианто, Эйно Лейно, Иоханнеса Линнанкоски, Сантери Ивало, Майю Лассила. Финскими пьесами заинтересовались местные самодеятельные театральные кружки. Известность получило также творчество Матти Куриikka (1863–1915), едва ли не первого писателя из ингерманландских финнов, автора пьес из жизни ингерманландской деревни.

С культурной деятельностью «финской колонии» в Петербурге, состоявшей преимущественно из финляндских финнов, контактировалась в первую очередь ингерманландская интеллигенция, школьные учителя. Известно, например, что писатель Ярнефельт, несколько лет учившийся в Петербурге и Москве, дважды посетивший Льва Толстого и долго переписывавшийся с ним, был также близко знаком с ингерманландским учителем Юхана Перяляйненем, встречался с ним и останавливался у него. Отчасти через Перяляйнена о творчестве Ярнефельта, равно как о его приверженности к «толстовству», узнали подробнее и другие ингерманландские интеллигенты. Толстой стал для них весьма почитаемым писателем, а роман Достоевского «Униженные и оскорбленные» газета «Инкери» напечатала в своих номерах в финском переводе в 1903 году.

Все это свидетельствует о весьма существенных сдвигах, происходивших в культурной жизни Ингерманландии. Важно иметь в виду то, что, наряду с собственно ингерманландско-крестьянскими этнокультурными традициями, развивалась иная культура.

Весьма выразительно сказал об этом Моосес Путро (1848–1918), один из первых ингерманландских интеллигентов, сумевший получить многостороннее образование и

отличавшийся многосторонностью своей деятельности. Сама его биография очень показательна. Он родился в крестьянской семье в деревне Кюллиси прихода Туутари (по соседству с Хиетамяки), поступил после воскресной школы в Колпанскую учительскую семинарию в числе первых ее учеников и получил свидетельство кантора-органиста. Для пополнения образования Путро учился в разных учебных заведениях Латвии и Финляндии, окончил в 1874 году курсы Императорского музыкального общества при Петербургской консерватории, работал в разных школах преподавателем музыки и органистом-регентом в церквах, в течение двадцати лет издавал газету «Инкери» (вплоть до 1905 года), основал в 1872 году финское хоровое общество в Петербурге и руководил им, сочинил текст и музыку ряда песен, в том числе песни «Воспрянь, Инкери», ставшей своего рода национальным гимном ингерманландцев, исполнявшимся на всех певческих праздниках.

Смысл и цель своей многосторонней деятельности, в том числе музыкально-хоровой, Моосес Путро кратко выразил в словах: «выковать ингерманландское самосознание». С его точки зрения, это входило в задачу новой культуры, и это впервые осознано им самим, выходцем из ингерманландских крестьян. К несчастью, он поплатился за это и погиб при невыясненных обстоятельствах в 1918 году, как полагают, от рук чекистов, представителей новой власти.

Таким образом, на рубеже веков в Ингерманландии складывались новые культурные традиции. Главной тенденцией было этническое и национальное объединение, поиски новой национально-культурной общности, стремление преодолеть замкнутость, выйти за пределы одной деревни, одного прихода, одного уезда. Чтобы этнически утвердиться и сохраниться, нужно было почувствовать себя единой народностью и воспитать в этом духе новые поколения.

Такой смысл вкладывался, например, в общеингерманландские певческие праздники, которые стали проводиться начиная с рубежа веков. Хоровое пение и общенациональные певческие праздники, на которых присутствуют тысячи людей, вообще характерны для некоторых прибалтийских народов — финнов, эстонцев, латышей. В объединенном хоровом пении, в многолюдных певческих праздниках заключено консолидирующее, цементирующее, объединяющее начало, в чем эти народы, не имевшие политической независимости, очень нуждались.

Финская традиция хорового пения и общенациональных певческих праздников оказала влияние и на Ингерманландию. Первые хоры стали возникать в некоторых ингерманландских приходах еще в 1870-е годы. Появились мужские, женские хоры, хор

учителей. Они давали концерты в разных местах, иные участвовали в певческих праздниках в Финляндии. А на рубеже веков объединение «Инкери» приступило к организации общингерманландских певческих праздников. Первый такой праздник состоялся в окрестностях деревни Пудости прихода Скворицы летом 1899 года, затем в Туутари (1901), Венйоки (1903), Тюрё (1908), Келтто (1910), Колппана (1913). На праздники съезжались хоры из разных мест, в первый день проводились обычно объединенные репетиционные спевки, а на следующий день — праздничные выступления, сочетавшиеся с приветственными речами патристического содержания. Официальные власти с неодобрением относились к певческим праздникам, в самом слове «Инкери» подозревали нечто крамольное. К празднику в Пудости в 1899 году издан первый в Ингерманландии песенный сборник, в котором из текста упомянутой песни-гимна М.Путро цензор вычеркнуло слово «Инкери».

С такой же подозрительностью власти относились к ингерманландским газетам, что проявилось в особенности в период событий 1905-1907 годов. В конце 1905 года сравнительно умеренная газета «Инкери», редактировавшаяся М.Путро, сама прекратила существование — ее содержание уже не соответствовало драматизму времени. За издание новой газеты «Ууси Инкери» взялись новые люди, молодые учителя, среди которых видное место занимал Габриель (Каапре) Тюнни. Газета смогла просуществовать только один 1906 год и была запрещена за свою левизну и сочувствие рабочему движению. Но уже в конце того же года стала выходить газета «Нева», издаваемая той же редакцией и близкая по направлению к социал-демократам.

Именно в этих газетах и этими людьми по-новому поставлен вопрос о развитии школьного образования в Ингерманландии, равно как и о новом содержании и целях национально-культурного движения. Автор многих статей — Каапре Тюнни (1877-1953), талантливый газетчик и полемист, что левым оказалось очень кстати, поскольку новые идеи вызвали полемику особенно со стороны духовенства, которое склонно было по-прежнему считать себя единственным душепастелем народа и хранителем его национальных традиций.

Серию статей о школьном образовании и гражданском просвещении народа в более широком смысле Каапре Тюнни опубликовал в 1907 году в газете «Нева». Первая статья озаглавлена: «В просвещении молодежи — наше будущее». Она начиналась вопросом: как малочисленная ингерманландская народность, едва заметная на многонациональном пространстве России, может этнически выжить и иметь будущее? И

ответ: только посредством развития своей материальной и духовной культуры до современного уровня, только своим активным участием в равноправном соревновании народов на путях совершенствования жизни.

Для этого ингерманландцам нужно выпрыгнуть от многовекового сна, рабской покорности, апатии и бездействия. Автор подразумевал не вооруженные мятежи, а гражданское пробуждение, осознание необходимости всестороннего развития образования и культуры, усвоения принципов народо-властия и современного гражданского общества. Следовало перестроить систему народного образования, поднять ее на совершенно новую ступень, открыть новые учебные заведения, снять все ограничения в обучении молодежи на родном языке, которые введены царским правительством еще в 1890-е годы. В обязанности народного учителя, по убеждению Тюнни, входит не только обучение, но и гражданское воспитание молодежи. «Из-за боязни разжигания страстей в народе учителям то в более жесткой, то в более мягкой форме запрещена всякая «дополнительная» просветительская работа, особенно если она нацелена на расширение кругозора и рост самосознания народа, на раскрытие действительных причин нашего жалкого положения».

Весьма долго и безуспешно дискутировался вопрос о том, чтобы хоть одну финскую школу в Ингерманландии сделать средним общеобразовательным учебным заведением, чьи выпускники могли бы затем поступать в университет. Речь шла об одной из школ при лютеранском церковном приходе в Петербурге, трехклассной школе св.Мариин. Обсуждался вопрос о превращении ее в восьмиклассную среднюю школу. Но обсуждение так и застряло на том, открывать ли четвертый класс, для чего не находили ни помещения, ни денег. Школа финансировалась церковным приходом, просьбы о государственной помощи были тщетными.

В развитии всецело светского образования в Ингерманландии была не очень заинтересована и лютеранская церковь, с которой у Каапре Тюнни возникла полемика. Обе стороны не избежали в полемике крайностей. Консервативная часть духовенства придерживалась мнения, что именно лютеранское вероисповедание символизирует и воплощает национальное начало в Ингерманландии, сохраняет национальные традиции. Новые же идеи о светском образовании и гражданском просвещении народа не на пользу ему и приведут лишь к расшатыванию более или менее устойчивого положения вещей.

Впадая в противоположную крайность, К.Тюнни в своих статьях доказывал, что у лютеранской церкви вообще нет никаких заслуг в сохранении финского языка и этнокультуры в Ингерманландии. Былая много-

вековая устойчивость замкнутого деревенского мира всецело объяснялась, по мнению автора, натуральным хозяйством и вытекающими из него особенностями крестьянского уклада жизни. Еще двадцать-тридцать лет тому назад, в XIX веке, натуральное хозяйство, писал Тюнни, оставалось в Ингерманландии преобладающим, но в начале XX столетия в деревню проникли торгово-денежные отношения, а вместе с ними и влияние русского языка как средства общения с городом и рынком. В первую очередь это коснулось деревень, совсем близких к Петербургу, но постепенно влияние распространялось и на отдаленные приходы. Хотя и с некоторыми полемическими издержками, это был трезвый и реалистический взгляд на положение дел.

Полемика Каапре Тюнни затрагивала и понимание национальной самобытности, национального патриотизма, национальной идеи как таковой. В обстановке обострения общественно-политической борьбы в России и Финляндии начала века также в ингерманландско-финской среде происходило идейное размежевание. Консервативное крыло, склонное именовать себя «национальной партией» и включавшее вместе с духовенством зажиточную чиновничье-предпринимательскую прослойку, упрекало редакцию «Невы» в недостатке «национального», в погружении в общерусские политические страсти, в солидарности с русским рабочим движением.

Напротив, редакция «Невы» доказывала, что «национальное», понимаемое вне общественной борьбы народа за свои политические и социальные права, за подлинное народовластие, утрачивает всякий смысл и превращается в пустое слово. Ингерманландскую «национальную партию» Тюнни сравнивал с финляндскими «суометарианцами» и российскими «черносотенцами» — все они были далеки от признания равноправия народов и гражданского равноправия. Между тем общерусское освободительное и рабочее движение, по словам Тюнни, «избавило нас наконец-таки от национального самолюбования, расширило наш кругозор и поставило перед нами более важные задачи, а именно: свобода угнетенным, права бесправным, народовластие вместо полицейского государства».

Характерный для начала века пафос интернационализма и гуманизма отразился и в статьях «Невы». Национализм не должен был возобладать над гуманизмом. Тюнни писал: «Да родись ты хоть турком или цыганом, но будь и оставайся человеком! Человечность превышает всего». Отсюда следовал вывод непосредственно для финского населения Ингерманландии: «У нас не может быть иной задачи, кроме общечеловеческой культурной работы на родном фин-

ском языке <...>. И пусть через всю нашу культурную работу проходит красной нитью мысль: все люди — братья и сестры, ни один человек не лучше и не хуже другого».

Каапре Тюнни суждено было стать на очень короткое время последним директором Колппанской учительской семинарии до советского периода. Произошло это вскоре после февральской революции 1917 года, пробудившей много надежд и у ингерманландского населения. Уже в апреле того же года состоялся первый общегингерманландский съезд, на котором обсуждалась школьная реформа. Казалось, наступило время осуществления давно вынашиваемых планов. В целях организации национального школьного образования было решено выделить особые школьные районы с финским населением со своими советами, избираемыми на демократической основе. Преподавание должно было вестись полностью на родном языке.

Что касается Колппанской учительской семинарии, то еще в 1906 году ее руководящий орган наполовину «обмирщен»: из шести его членов трое представляли церковь, трое — непосредственно учителей и общественность. Теперь, после февраля 1917 года, руководящий совет семинарии выбирался на общей основе, и директором был избран Каапре Тюнни, приступивший к своим обязанностям с 1 сентября того же года. Теперь обучение в семинарии стало четырехгодовым, набор на первый курс проводился ежегодно, принимались также девушки, и общее число учащихся достигло ста человек. Это объяснялось тем, что возросло число школ, а также тем, что с переводом всего обучения на родной язык требовались дополнительные учительские кадры.

Все эти новшества проводились по инициативе и силами местного населения; официальные власти даже после октябрьского переворота 1917 года на первых порах не вмешивались в ингерманландские школьные дела. Но долго ждать вмешательства не пришлось. В обстановке гражданской войны и начавшейся эмиграции части ингерманландского населения в Финляндию практически невозможно было избежать контактов эмигрантов с оставшимися на родине. Контакты могли приобретать и тайный, даже заговорщический характер, что вело к серьезным последствиям. Некоторые из юных семинаристов, без ведома своего руководства, оказались вовлеченными в закулисные связи с эмиграцией, не оставшиеся тайными для чекистов. Последовали аресты, допросы, несколько раз задерживался и Каапре Тюнни, но каждый раз его отпускали. Во избежание худшего он решил весной 1919 года перебраться в Финляндию, вскоре к нему приехала семья. Большинство семинаристов тоже эмигрировали, а один из арестованных юношей, Суло Ямалайнен, родом из кре-

стьянской семьи в Хиетамяки, побывавший в Финляндии, но вернувшийся, был обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян. Об этом подробно рассказала в книге своих воспоминаний об Ингерманландии Аале Тюнни, дочь Каапре Тюнни, оказавшаяся в финской эмиграции шестилетней девочкой и ставшая впоследствии известной поэтессой и академиком.

Дальше начался уже советский этап в истории народного образования в Ингерманландии, равно как и в жизни Колппанской учительской семинарии, или Гатчинского педагогического техникума, как его теперь стали называть.

С самого начала этот этап полон драматических конфликтов и человеческих трагедий, тяжелых утрат и не менее трудных приобретений.

В России в последние годы много пишется о том, сколь страшный и невосполнимый урон понесла в связи с большевистским переворотом и последующим террором русская интеллигенция. Кто сочтет, сколько выдающихся людей вынуждены были покинуть страну и остались надолго безвестными ей, и еще больше умов и талантов загублено внутри страны — либо через физическое уничтожение, либо через принудительное молчание.

Общая трагедия имела для маленькой Ингерманландии свои разрушительные последствия. Ее немногочисленная и еще не окрепшая интеллигентская прослойка, едва успев возникнуть, оказалась практически не у дел у себя на родине. Получилось так, что даже те, кто не успел эмигрировать и не был арестован, не смогли в полной мере проявить себя. Власти считали их идеологически незрелыми, их отнесли в тень и заменили пришлыми людьми, которым временно доверяли больше, чем коренным ингерманландцам, но большинство из которых потом тоже репрессировали. Этими пришлыми людьми были «красные финны» из Финляндии, бежавшие в Россию после поражения финской революции 1918 года. Они спасались от белого террора, а в России бушевал красный террор.

Некоторое представление о том, что происходило в начале 1920-х годов в сфере образования в Ингерманландии, дают воспоминания Катри Кукконен, опубликованные в 1995 году в Финляндии. Ее юность и сознательная жизнь начинались как раз тогда, когда закончилась, в связи с эмиграцией, деятельность Каапре Тюнни в Колппанской семинарии и ингерманландской печати. Катри Кукконен рассказывает, что в 1919-20 годах она училась в народном училище в Токсово, где наряду с общеобразовательными предметами давались знания по агрономии и домашнему хозяйству. Надо иметь в виду и условия тогдашней жизни: голод и режим

военного коммунизма, все продукты девочке надо брать из дома, но для того, чтобы провезти хлеб и картошку, требовалось особое разрешение, иначе вооруженные солдаты все отнимали. Далее Катри Кукконен рассказывает, что в Токсовском училище, которое возникло еще до революции, были хорошие учителя и хороший директор, которого новые власти, однако, решили заменить более идейным человеком из «красных финнов». Им оказался Сантери Мякеля (1870-1938), известный финский рабочий поэт-эмигрант. Замена едва ли достаточно мотивированная, особенно в глазах учителей и учащихся; с их стороны она вызвала коллективные протесты и привела к развалу школы.

Вслед за тем, вспоминает Катри Кукконен, она и брат ее будущего мужа, столь же юный тогда Матти Кукконен, поступили в 1920 году в Колппанскую (Гатчинскую) учительскую семинарию, но уже в следующем году оба оставили учебу, и главной причиной, наряду с полуголодным бытом, была слишком резкая «смена идеологий», которая началась тогда в семинарии в связи с приходом новых учителей из числа «красных финнов» (в мемуарах упоминаются некоторые имена). Возникали трения и раздоры между прежними и новыми преподавателями — последние считали себя более идейными и революционными, хотя практически никто из них не обладал не только педагогическим, но и вообще серьезным образованием, их идеология оставалась чаще всего на уровне примитивной «комиссарской поллитграмоты» с акцентом на беспощадной борьбе с классовыми врагами и всякими отсталыми элементами. Психологически «красные финны», только что потерпевшие поражение в финской революции 1918 года, были преисполнены классовой ненависти и жажды мщения.

Как известно, ненависть плохой советчик, тем более в педагогике, особенно когда недостаток знаний и образования компенсируется чрезмерной самоуверенностью в идеологических спорах, стремлением быть правовеернее самого папы. На педагогическом поприще крайняя идеологическая нетерпимость наставников-атеистов могла производить слишком уж удручающее впечатление на слушателей и слушательниц из религиозных крестьянских семей, побуждая их тут же оставить учебу, как это случилось с Катри Кукконен.

Время наступило переломное, жестокое, беспощадное. Его знаменем стало неприемлемое столкновение одних людей с другими людьми, и часто поступки, сомнительные в моральном отношении, оправдывались интересами мировой революции. Над этой чертой эпохи слегка подтрунивал в своих рассказах молодой Тобиас Гуттари (1907-1953), писа-

тель-ингерманландец, учившийся в том же Гатчинском педтехникуме в 1921-24 годы и направленный с четвертого курса вместе с группой студентов учительствовать в Карелию, где остро не хватало школьных учителей. В рассказе «Юмпура» (1930) он описал бывшего сплавщика в роли школьного учителя, который тяготеет своим назначением, потому что лучше, чем пером, он владеет топором и чувствует себя в своей стихии только тогда, когда учит своих питомцев строить лодку. В рассказе «Сапоги» (1928) командир-красногвардеец считает себя вправе «во имя мировой революции» отнять добротные сапоги у крестьянина, поскольку его собственная обувь вконец прохудилась. Но все же юный Гуттари тогда восторженно шел на встречу новому времени и писал в стихотворении «Ткачиха», посвященном матери, деревенской женщине, ждущей домой сына и желающей ему покоя у родного очага:

По той тишине не тоскую,
О матери помня своей,
Я вижу, как трудно бывает
Понять матерям сыновей.

Домой не могу я поехать,
Но знаю: разлил там, весна,
Ткачиха глядит на дорогу,
Ставины стучат у окна.

(Перевод Г. Семенова)

При всех утратах периода гражданской войны, вынужденной эмиграции и крутой идеологической ломки нельзя отрицать, что не только в смысле нэповской хозяйственной либерализации, но и в области народного образования двадцатые годы открыли некоторую перспективу для национально-культурного развития Ингерманландии. Это должны были признать и те, кто весьма критически относился к советским порядкам, особенно с началом коллективизации деревни.

Заявка на такую перспективу содержалась уже в Тартуском мирном договоре конца 1920 года между Россией и Финляндией. Правда, в самом тексте договора не было особой статьи об ингерманландских финнах, но к протоколу приложено официальное заявление российской делегации на этот предмет. Признаться, я совсем недавно, всего лишь год назад, впервые ознакомился с текстом этого заявления, весьма кратким (в отличие от текста самого договора), приведу его для точности полностью.

«Заявление относительно ингерманландцев.

Российская делегация заявляет от имени правительства Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, что финское население Петроградской губернии пользуется в полной мере всеми правами и преимуществами, предоставляе-

мыми российскими законами народностям, находящимся в меньшинстве. В частности, этим имеется в виду, что

упомянутое финское население имеет право в пределах законов и постановлений государства свободно регулировать дело народного просвещения, общинное и междубщинное управление, а равно местное судопроизводство,

право принимать все необходимые общи́е меры для подъема хозяйственного своего положения,

право осуществлять упомянутые выше цели через необходимые органы представительства и исполнительные органы, субсидируемые общими средствами, согласно с действующим законодательством,

право в деле народного просвещения, а равно и в других внутренних делах, свободно пользоваться языком местного населения».

Заявление это — отчасти результат усилий ингерманландской эмиграции в Финляндии, от имени которой в Тарту во время переговоров направлена делегация из трех человек во главе с Каапре Тюнни. Делегацию приняла финская сторона, но не российская — по той причине, что эмиграцию она считала антисоветской и причастной к вооруженной борьбе против новой власти. Тем не менее к протоколу переговоров приложили и другое заявление российской стороны о том, что ингерманландским и карельским беженцам-эмигрантам «даруется полная политическая амнистия и им предоставляется право возвратиться на родину».

Происшедшие в двадцатые годы сдвиги в развитии народного образования в Ингерманландии были весьма существенны. Количество школ возросло до 280, причем обязательным для всех детей стало начальное четырехклассное, а затем и неполное среднее (семиклассное) образование. Для подготовки учителей открыли педагогические техникумы (кроме Гатчинского, переведенного в 1928 году в город Ленинград, появился педтехникум также в Петрозаводске). В Ряbove под Ленинградом функционировал сельскохозяйственный техникум. При Ленинградском педагогическом институте им. Герцена открыто национальное отделение, в Петрозаводске возник учительский институт. В Ленинграде основано издательство «Кирья», выпускавшее школьные учебники, художественную литературу, журналы и газеты на финском языке. В Ленинграде же находился финский Дом просвещения в качестве культурного центра. Трудно поверить, но даже в Хибиногорске на Кольском полуострове для детей из ссыльных ингерманландских семей создали в начале тридцатых годов семилетнюю школу с преподаванием полного цикла предметов на финском языке, и для нее нашли неплохого учителя, мне довелось в ней учиться.

А ЧТО, ЕСЛИ БЫ...

История не признает запоздалых вариантов иных политических решений и иного развития событий, чем произошло на самом деле. Прошлого уже не вернешь, его можно только по-разному оценивать.

И все-таки возникает невольный вопрос: а что, если бы государственно-политические условия развития национальной культуры, языка, школьного образования, местного самоуправления и этнической целостности оставались в Ингерманландии нормальными в течение всего XX века: имели бы мы сегодня столь прискорбную ситуацию, когда ингерманландцам для того, чтобы чувствовать себя финнами, надо переселяться в Финляндию, а не жить на земле предков?

Была ли историческая необходимость в крайнем ужесточении национальной политики начиная с тридцатых годов, что коснулось не только ингерманландцев, многих других народностей и национальных меньшинств, но и всех народов в бывшем СССР.

Разумно ли было строить национальную политику в многонациональном государстве так, что, с одной стороны, возникали новые литературные языки и выходили на них книги, толстые журналы и газеты, а с другой — не было настоящего школьного образования на этих языках, в результате чего молодежь не овладевала родным языком и не могла ничего прочитать на нем?

И достаточно ли для возрождения национальной культуры двух школьных уроков родного языка в неделю, получасовых радиопередач и ежегодных фольклорных праздников? Давно доказано опытом, что без проникновения языка народа во все сферы его общественной и культурной жизни ни один язык не может развиваться полноценно на современном уровне.

Вопросы, вопросы, вопросы — до бесконечности. И главный вопрос: есть ли более оптимальные решения?

Ведь есть же в Европе примеры сосуществования вполне развитых современных языков и национальных культур в рамках одного государства. В той же Финляндии по меньшей мере уже в течение столетия сосуществуют развитый финский и развитый шведский языки, развитая финская и развитая шведская культура.

Финляндские шведы составляют ныне шесть процентов населения страны, их около трехсот тысяч человек — в два раза больше, чем было финского населения в Ингерманландии.

Но у финляндских шведов, при всех происходящих изменениях, сохраняются традиционные регионы их преимущественного проживания, у них много административно-политических прав, своя система школьного и высшего образования, свои театры и культурные центры, своя относительно мощная печать и книгоиздательское дело.

Позволительно ли, например, вообразить, что из трехсот финских школ Ингерманландии в течение не очень долгого времени выделилось бы несколько десятков средних школ, а на их основе возник бы небольшой финский университет в той же Гатчине? А почему бы и нет?

Конечно, у шведской культуры и шведского языка в Финляндии гораздо более прочные традиции по сравнению с ингерманландскими культурно-языковыми традициями. И, кроме того, финляндские шведы могут опираться на достаточно устойчивые и надежные культурно-языковые традиции самой Швеции.

Все-таки и в этом случае некоторые параллели, думается, возможны. Для Ингерманландии при нормальных условиях ее национального развития аналогичной опорой стала бы соседняя финская культура — ведь естественные связи с нею уже успешно налаживались на рубеже веков, и они развивались бы и дальше естественным путем, если бы не жесткие ограничения и запреты после 1917 года. Культурное соседство Финляндии было бы очень плодотворным и полезным для ингерманландской культуры при условии, что граница между Россией и Финляндией оставались бы в течение всего XX века столь же открытой и доступной, как и граница между Финляндией и Швецией.

Но все эти «если» — только толчок для размышлений, отчасти даже праздных и чисто умозрительных, потому что все уже в прошлом, а прошлому нет возврата.

Важно осознать, однако, что главное усилие для успешного развития культуры — отсутствие насилия и насильственного разрыва традиций. Культура должна развиваться в своей естественной преемственности на родной почве, будучи одновременно открытой влияниям других культур, чтобы соревноваться с ними.

К несчастью, ингерманландской культуре не было дано такого продолжительного свободного развития, с нею все получилось прямо противоположным образом.

К ТРАГИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКЕ

Хотя в массе своей ингерманландское крестьянство продолжало даже в конце

двадцатых годов жить еще относительно замкнутой жизнью в мире своей традицион-

ной этнокультуры, однако в масштабе страны это был канун «великого перелома», как стали потом в официальной пропаганде именовать вслед за Сталиным коллективизацию сельского хозяйства.

Годом «великого перелома» официально считался 1929 год, но в разных регионах огромной страны коллективизация продолжалась до 1934 года. В Ингерманландии колхозы возникли в основном в 1931 году, и летом того же года осуществлена в несколько очередей принудительная высылка кулаков — сначала в Сибирь, в Красноярский край, затем в Хибины на Кольский полуостров, наконец в Среднюю Азию.

Курс на коллективизацию сельского хозяйства страны провозглашен еще в 1927 году на XV съезде ВКП(б), причем уже заранее предполагалось, что это будет сопряжено с обострением классовой борьбы внутри самого крестьянства. Такое обострение считалось в высших партийных инстанциях необходимым условием проведения коллективизации и потому желательным. Отныне крестьян в каждой деревне делили на три группы — на бедняков, середняков и кулаков, и к каждой группе предписывался свой особый подход: бедняков следовало организовать на борьбу за колхозы, середняков нейтрализовать и привлечь на свою сторону, кулаков «ликвидировать как класс». Официальная линия на ликвидацию кулачества как «последнего эксплуататорского класса» закреплена на январском пленуме ЦК ВКП(б) 1931 года, после чего и началась практическая реализация в ингерманландских деревнях, в том числе в Финно-Высоцком.

Сейчас даже трудно представить себе в полной мере, что означали эти официальные курсы и линии на низовом уровне, среди самого крестьянства, в рамках каждой отдельной деревни. Ведь кто-то из районных уполномоченных и сельских активистов-агитаторов составлял эти поименные списки бедняков, середняков и кулаков и решал, кого из его односельчан постигнет какая судьба, кто окажется председателем колхоза или по меньшей мере бригадиром или счетоводом, а кого повезут в сибирскую ссылку.

Даже официальные власти со временем признали, что при составлении этих «черных списков» низовые органы власти переусердствовали и допустили «перегибы», хотя подобные признания были больше демагогией, чем корректировкой реальной политики, ибо никакого «обратного хода» на практике не допускалось.

Едва ли ингерманландские крестьяне читали партийные постановления, однако их практическую суть они познали через низовые органы власти на себе.

Еще в период агитации за колхозы, до начала высылки кулаков, социальная атмосфера

в каждой деревне стала резко меняться. Изменялась социальная психология людей, причем далеко не всегда в лучшую сторону; изменялись отношения между соседями и даже между родственниками. Люди утрачивали доверие друг к другу, ибо в обстановке политического террора и подозрительности любая человеческая слабость, в иных условиях оставшаяся бы без последствий, теперь оборачивалась трагедией. Простая человеческая обидчивость и неуживчивость, страх и зависть, злорадство и мстительность становились социально опасными, равно как нежелание совестливого человека поддаться этим страстям тоже могло обернуться трагедией. Люди оказывались в мучительных ситуациях, впадали в отчаяние и кончали с собой.

Для примера расскажу историю, которую поведала мне еще лет тридцать назад старая женщина-карелка в одной из карельских деревень под Петрозаводском, где я тогда проводил свой летний отпуск. Несколько недель я прожил в ее доме, и однажды она поделилась своим давним материнским горем. Ее сын отслужил в конце двадцатых годов свою армейскую службу и вернулся в родную деревню, где его вскоре сделали сельским агитатором, а затем и секретарем сельсовета. Надо учитывать, что армия тогда считалась кузницей политических кадров, там в течение нескольких лет учили деревенских парней азам политграмоты. А с возвращением парня домой в той карельской деревне тогда началась коллективизация и раскулачивание части крестьян — все как по сценарию выше. Молодому секретарю сельсовета надлежало по должности в этом участвовать, ему поручили провести раскулачивание соседа в его же деревне. Но он не мог решиться на это и застрелился в ночь перед тем, как должен был наутро явиться на соседское подворье — наган ему тоже полагался по должности. Такой рассказ старушки-матери, и в нем отразилась атмосфера эпохи, ее социальный и нравственный драматизм в маленькой крестьянской деревне на берегу чудесного лесного озера.

Ведь и на выявление кулаков из числа односельчан-соседей местным властям давалось свыше «твердое задание». Потом, когда наша семья оказалась уже в хибинской ссылке, даже я, мальчишка, удивлялся: зачем бедных людей туда заслали в качестве кулаков из некоторых российских регионов, например, из Псковской области? Они ходили в лаптях и веревочных «чунях», потому что дома к иной обуви не привыкли. Помню одного мужчину в годах, плотника и столяра, с которым мы, мальчишки, были в очень хороших отношениях, потому что он одалживал нам свой столярный инструмент для разных ребячьих поделок. Это был очень

добрый человек, улыбающийся детям, и ходил он зимой в привычных веревочных чулках, натянутых на обмотанные портянками ноги. Возможно, чуни казались ему мягче очень жестких валенок, натиравших с непривычки ноги до крови, как я испытал это потом не раз в армии.

Еще в доколхозные годы началось притеснение тех крестьян, которых зачислили в потенциальные кулаки. Они подвергались непосильному налогообложению и разным принудительным обязательствам — это делалось и для того, чтобы всегда был наготове повод для полной конфискации имущества и ссылки. Из мало-мальски обеспеченных семей брали в принудительном порядке лошадей и молодых мужчин для оборонных работ на границе, для перевозки грузов, на лесоповал. Впоследствии, когда кулаки были уже сосланы, на подобные же работы отправляли — опять-таки по «твердому заданию» — обычных колхозников, даже женщин.

Из нашей деревни нескольких молодых парней призывного возраста взяли в так называемую трудовую армию, в том числе моего старшего брата Ааппо. Его продержали там более четырех лет, и он приехал к родителям в Хибины только через три года после их ссылки. Сначала он возводил оборонительные сооружения на Карельском перешейке (тогда к нему еще могли ездить родители), а затем его отправили на Дальний Восток в город Сучан на угольные шахты, где трудармейцы были в сущности на положении заключенных. Тяжелые подземные работы на строительстве и эксплуатации сучанских шахт, переувлажненность и запыленность воздуха в забоях, изнурительный ручной труд без профессиональных навыков и при плохом питании — все это приводило к гибели многих людей, и мой брат уцелел только потому, что ему посчастливилось после болезни перевестись на поверхностные работы по уходу за лошадьми. Трудармия — одна из форм бесплатного принудительного труда, которым можно пользоваться где угодно и как угодно.

В самих ингерманландских деревнях те крестьяне, которых власти «наметили» в кулаки и теснили налогами, должны были решить для себя, попытаться ли им еще выплатить очередной побор или же наотрез отказаться и готовиться к худшему: распрощаться с родным домом, землей, привычным образом жизни крестьянина-земледелца.

Поскольку обивать пороги сельсоветов и райисполкомов бесполезно и ничего властям объяснить невозможно, люди с чувством обреченности готовились к неизбежному, а ведь это — семьи с маленькими детьми, нередко с грудными младенцами. В ожидании конфискации имущества они в растерянности пытались хоть какую-то одежду отне-

сти на время к родственникам в другие деревни с тем, чтобы ее потом переслали им туда, куда их сошлют.

Наша деревня Финно-Высоцкое оказалась в числе тех ингерманландских деревень, которые подверглись наибольшему опустошению еще в начале тридцатых годов. Сослали почти треть всех семей, дома немедленно вывезли, образовались пустоши, словно после военного нашествия. Деревня пошла как бы на слом за ненужностью, утратив прежний вид жизнеспособного человеческого общежития. После того никто в деревне ничего уже не строил: отбили охоту что-либо строить и у оставшихся жителей.

И такое наблюдалось во многих деревнях. Парадокс: пропаганда кричала о новых начинаниях, а люди доживали свой век в старых домах, не особенно заботясь об их состоянии.

Наша семья оказалась во второй очереди подлежащих высылке, и нам выпало отправляться на Кольский полуостров. Еще раньше выслали несколько семей в Сибирь, в том числе брата моего отца, дядю Антти с семьей. С нами на Кольский полуостров поехала еще одна семья, а также другой брат отца, дядя Юнни, но без семьи, потому что у него была психически больная дочь.

Было раннее июньское утро, когда в наш дом вошли представители власти и милиции; у крыльца стояла подвода, на которую нам разрешалось погрузить самый необходимый скраб: постели, одежду, кое-что из посуды, немного продуктов.

Не помню слез и рыданий — наверное, их и не было, а может, прощальные слезы выплакали еще до этого наедине, не при милиционерах.

Сборы по приказанию уполномоченных закончили быстро, мать с полутороговой дочкой уселась на повозку, кое-кто из детей уместился рядом с нею, и наш маленький деревенский обоз двинулся к Ропшинскому шоссе, где по пути к нам присоединялись такие же обозы из других деревень. Ингерманландия переселялась, наступило время странствий, и конца им не было видно.

Приехали к пригородной железнодорожной станции Александровская — это название запало в мою детскую память, может быть, потому, что я впервые увидел тогда железную дорогу и товарный состав, стоявший для погрузки ссыльных. Стояло много подвод, погрузка уже шла. Товарные вагоны были оборудованы двухъярусными нарами, они заполнялись людьми довольно плотно. Дети были возбуждены, такого столпотворения в родных деревнях они не видели.

Запомнились солдаты с винтовками в тамбурах вагонов, которые должны были

охранять нас и предупреждать побег, если бы кто-нибудь решился на побег. Перед отправкой эшелона двери вагонов закрывались снаружи на запоры, никто уже выйти не мог. В пути поезд останавливался довольно редко — для остановок не было надобности, в вагонах по нужде ходили в «парашу», отгороженную занавеской. Питались своими припасами, раз-другой приносили только горячий кипяток в ведрах. Из вагонов всю дорогу не выпускали, а в маленькое окошко, если высунешь голову, увидишь печальные болотистые пейзажи и опять же часовой с винтовкой на тамбуре.

Ехали около двух суток. Нас выгрузили, и мы оказались с пожитками на каменистом взгорье, где мужчинам предложили разбить казенные палатки — это и было наше первое жилье посреди Хибинских гор.

Тогдашний Хибингорск (затем Кировск — после убийства Кирова) еще не назывался городом, его строительство только начиналось. Но железнодорожная ветка к нему от основной Мурманской магистрали уже действовала, а также ветка от города к руднику и поселку Кукисвумчор. Не знаю, как обстояло дело в реальности, но ссыльные вполголоса говорили потом, что железнодорожные ветки проложили до них заключенные и что чуть ли не под каждой шпалой схоронены зековские останки.

Город расположен в каменистой долине между двумя горами, и как бы продолжением долины вытянулось озеро Большой Вудъявр, а на противоположном его берегу начиналась новая долина с горой Кукисвумчор. В результате образовалось пространство для разгульных полярных ветров и даже ураганов со снежными обвалами с горных склонов, с чем мы познакомились позднее.

Уже в палатках в те первые июньские дни на хибинской земле мы почувствовали силу ветра и капризы полярной погоды, и это заставило женщин с малыми детьми призадуматься над тем, как же быть дальше. Моя мать после совета с отцом решила отправить двух младших сыновей — двенадцатилетнего Александра и меня, семилетнего, — обратно в Ингерманландию к родственникам. Так поступили и некоторые другие матери. Против этого не возражала даже комендатура ОГПУ, под надзором которой находились ссыльные. Не помню, был ли у нас сопровождающий или мы добрались одни, даже не зная русского языка. Взрослым из числа ссыльных всякое передвижение запрещалось, за этим следили строго в каждом поселке. Возможно, специально за детьми приезжала из Ингерманландии какая-нибудь знакомая матери по ее евангелистской общине — именно так было, когда меня через два с половиной года привезли обратно к родителям в Хибины. Среди чле-

нов евангелистских общин сохранялась очень крепкая взаимная выручка, они помогали друг другу, причем организовывали помощь сообща, собирали деньги на дорогу сопровождающим, посылали посылки ссыльным с теплыми вещами и кое-какими продуктами. Они помогли и моему брату Александру найти место пастуха в одной из соседних деревень (Котсала). Жизнь в родной деревне сопровождалась бы слишком тяжелым переживанием — постоянно видеть знакомые места, но без родителей.

Словом, уже через две-три недели мы с братом покинули хибинские палатки и вернулись в деревню прихода Хиетамяки. Меня приняла моя бабушка по матери в деревне Алакуля, где я стал осенью учиться во втором классе местной школы.

А в родной деревне Финно-Высоцком продолжались тем временем печальные для нашей семьи и родни события, которых детским умом понять невозможно. Меня старались даже не посвящать в них, потому что они касались скорой и внезапной смерти моего деда по отцу и его сына Йосеппи.

После ссылки трех других своих сыновей дед с больным и неженатым сыном Йосеппи остался в деревне практически безнадзорным, почти совсем глухим и с ухудшающимся зрением. Его сыну Йосеппи было тоже за пятьдесят. И поскольку оба они никакой индустриальной деятельностью не занимались, принудительной высылке их не подвергли, в Сибирь они вместе с сыном Антти, в доме которого жили, не поехали. До нашей высылки в Хибины у деда с Йосеппи была еще какая-то опора, а потом они остались в деревне из всей нашей родни одни. К тому же была такая спешка и ломка всего и вся, никто не мог знать даже на один день вперед, что с ним будет завтра, — ни те, кого повезли под охраной в ссылку, ни те, кому можно было пока остаться в деревне. И никто не мог сказать, где старым и немощным людям будет лучше, где им приклонить голову. Дед с сыном Йосеппи остался в деревне, ведь было еще лето, они продолжали пока жить в прежнем доме, хотя дом и подлежал конфискации, и потом переселились в баню, пользовались огородом и так дотянули до осени.

Но главная причина гибели деда, как я теперь понимаю, — душевная катастрофа, чувство тупика жизни — и его собственной, и его сыновей. Привычная жизнь кончилась, а к новой поздно было привыкать. Не только уехать куда-нибудь он уже не мог, да и не хотел, но вообще жизнь стала неумолима.

Осенью деда нашли мертвым в погребной яме, в воде, и можно только гадать, то ли он по неосторожности упал туда, то ли сам искал смерти. А через несколько недель повесился его больной сын Йосеппи. Через пять лет в Хибинах нашел конец в пет-

ле сын Юнни, не выдержавший слишком долгого одиночества без семьи. Все это на счету «великого перелома».

Еще много лет после гибели деда, очень доброго человека, в нашей родне возникали тяжелые разговоры о том, кто виновен в его неестественной смерти. Наверное, каждого втайне мучила совесть, у каждого душу скребла укоризна, что частица общей вины, возможно, падает и на него. Ведь дед являлся как бы нашим патриархом, самым старшим в роду, кого помнили и дети, и внуки.

Конечно, в былых бедах и несчастьях можно винить кого и что угодно — и конкретных людей, и общество в целом, и жестокое время с лозунгами ненависти к классовым врагам. Что там и говорить, христианская любовь к ближнему и даже уважение к старости были в тридцатые годы не в почете, простая человеческая терпимость предавалась идеологической анафеме как пережиток прошлого. И когда потом много лет спустя вдруг стали публично уверять, что «человек человеку — друг, товарищ и брат», поначалу это воспринималось твердокаменными партийцами как опасная ревизия революционно-классовой морали и чуть ли не как возврат к христианской этике. Ведь прежде полагалось беззаветно любить только мировую революцию, товарища Сталина, родную партию и советский народ, а не человека как такового, скажем, в лице попавшего в беду соседа, независимо от его социального происхождения и классово-вой принадлежности. Еще Достоевский го-

ворил, что легче любить человечество в целом, все разом, чем одного конкретного человека с его пороками и язвами. Но Достоевский был как раз самым «неудобным» классиком для официальных властей в сталинскую эпоху, с ним не знали, собственно, что делать — то ли вообще запретить издание его романов, то ли подвергнуть их жестко-однобокому толкованию.

Время отразилось на человеческих отношениях в обиденной жизни. Могу самолично засвидетельствовать тогдашним детским восприятием, что несчастьям сосланных семей не все тогда сочувствовали, по меньшей мере открыто. Страх способен парализовать человеческие души, у каждого есть причина опасаться за собственную судьбу, чего доброго могли и в «подкулачники» зачислить, и тогда сам последуешь в Сибирь. Для деятельного сочувствия и помощи нужно иметь очень доброе сердце, и ребенок чувствовал доброту и жадно впитывал ее — она была ему так необходима в долгой разлуке с родителями. А малейшие ребячьи обиды ранили больней от невольной мысли: ты ведь не дома, ты здесь чужой — и тогда писались новые письма родителям, чтобы взяли скорее к себе.

Большинству ссыльных старшего поколения, рассеянных по дальним пределам, больше никогда не суждено было ступить на родную ингерманландскую землю.

Но мне предстояла еще в детские годы продолжительная встреча с колхозной Ингерманландией.

СЕВЕР

Дмитрий ГУСАРОВ
«ЖИТЬ В ВОЙНЕ МНЕ СУЖДЕНО
ДО КОНЦА ДНЕЙ МОИХ...»
статьи и письма 1972-1993

Вячеслав КУШНИР
ЧЕРНАЯ СВИРЕЛЬ
фантастическая повесть

Неонила КРИНИЧНАЯ
Виктор ПУЛЬКИН
КОРАБЕЛЬНАЯ СТОРОНА

Олег ХИМАНЫЧ
ТРЕТЬЯ «ЦУСИМА»

10
1996

ПРОЩАНИЕ С ИНГЕРМАНЛАНДИЕЙ

Записки ее уроженца

В ДОМЕ БАБУШКИ И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

Бабушку Анни, мать моей матери, я запомнил уже совсем старенькой, ей перевалило за восемьдесят, и прожила она при мне недолго, чуть больше года. Умерла она тихо, без жалоб и без врачей, от какой-то неведомой хвори, возможно, от рака горла, которое у нее покраснело и распухло, так что ей стало трудно дышать.

Среди остальных взрослых людей бабушка запомнилась мне очень уж сухонькой и крохотной, как бы сжавшейся в комочек под бременем лет и похожей на доброе существо из сказки. Свои последние недели она лежала или сидела больше на печке, грея старые кости и не желая никому мешать. Когда ей говорили, что на печке завелись тараканы и что надо бы их вывести, она отвечала, что лучше их не трогать, они тоже Божьи твари.

В бабушкином доме жили еще ее овдовевшая невестка, моя тетушка Мария и трое ее детей: дочка Анни, уже девушка на выданье, семнадцатилетний сын Пекка и двенадцатилетний Юнни, вскоре оставивший школу и, как и его старший брат, работавший в только что организованном колхозе с характерным для времени названием: «Красный труженик».

Поскольку все остальные в доме были с утра до вечера заняты своими делами, мы с бабушкой часто оставались подолгу одни, так что она была моей главной собеседницей. Она считала меня как бы сиротой при живых, но отнятых родителях и старалась чем-нибудь накормить посылить ее, хотя отыскать лишний кусок в деревенских домах в ту пору было уже трудновато. И все же бабушка либо сама спускалась с печи, либо давала оттуда мне указания, где можно было что-нибудь найти.

Бабушка не очень разбиралась в новых для нее колхозных делах и доживала свой век в собственном мире бывлой деревенской жизни. Именно ее прошлая жизнь и являлась главным предметом наших собеседований. Она была большая охотница рассказывать про свою молодость и про прежние времена, тем более что почувствовала во мне заинтересованного слушателя. Родившись еще в середине прошлого столетия, она захватила девочкой последние годы крепостного права, помнила, как крестьяне из окрестных деревень ходили трижды в неделю на поденщину в помещицкую усадьбу в Русско-Высоцкое, по соседству с моей родной деревней. Она рассказывала про сельский быт еще с деревянной посудой и берестяными лукошками, любила вспоминать про летние войсковые учения, которые проводились чуть ли не ежегодно. В деревне Алакюля, по ее словам, обычно стоял гусарский полк, было много лошадей, которых купали в пруду, специально сооруженном с помощью запруд на речке, протекавшей низиной позади бабушкиного дома. Речка была совсем никчемная, в ней водились маленькие рыбки, которых мальчишки ловили руками для кошек и потому называли их «кошкиными рыбками». Но, по рассказам бабушки, когда в ее время солдаты сооружали запруды на речке, вода в пруду аж заливала луга. Крестьяне мирились с этим; видимо, военные каким-то образом возмещали им ущерб, к тому же они закупали в деревнях провизию. Из бабушкиных рассказов выходило, что гусары умели и веселиться, жгли по вечерам костры, пели песни, устраивали разные потешные забавы. Так продолжалось вплоть до начала первой мировой войны — прямо с летних лагерей в окрестностях Алакюля гусарский полк отправился на фронт воевать с германцами.

А с особой охотой и восхищением рассказывала бабушка о царских дочерях, которые якобы проезжали по Ропшинскому шоссе в роскошных каретах, направляясь в тамошний дворец, где проводились разные летние празднества с присутствием военных чинов и знатных гостей.

Эти бабушкины рассказы известны и другим ее внукам, постарше меня, которые слышали их уже раньше, а мне посчастливилось стать самым последним ее слушателем. Для восьмилетнего школяра эти рассказы о стародавних временах были как бы домашним дополнением к школьным урокам, но во многом от них отличавшимся. Читать бабушка не умела, о новейших школьных учебниках не имела представления и про то, как в них изображалось ее время, ничего не знала. Но для нее самой это прошлое — ее детство, и там обязательно обитало нечто светлое, не только крепостной гнет и сплошная темень.

А для меня ее рассказы о золоченых каретах с царевнами в шелках и бриллиантах были сказкой, и сама бабушка словно вышла из сказки, добрая и ласковая, всегда меня жалевшая.

Но тогдашняя жизнь вокруг отнюдь не походила на сказку.

Для хронологической точности укажу, что в деревне Алакюля в бабушкином доме я провел после ссылки родителей неполных три года: с июля 1931 по февраль 1934 года. Все это время местный «Красный труженик», как и соседние ингерманландские колхозы, не радовал деревенских жителей ни изобилием, ни самым элементарным крестьянским достатком, и еще хуже обстояли дела в ряде областей обширного государства.

О том, что колхозная деревня не пошла по пути обещанного процветания, теперь написано бесчисленное количество статей и книг, и чем ближе к нашим дням, тем суровее оценки, тем больше появляется на свет тщательно скрываемых прежде обличительных документов, включая сверхсекретную переписку и служебные донесения высшему партийно-правительственному руководству страны о тогдашнем катастрофическом положении в сельском хозяйстве. Докладывалось о применявшихся сплошь и рядом насильственных методах вовлечения крестьян в колхозы и об упадке сельскохозяйственного производства; о принудительных реквизициях у обнищавших крестьян последних остатков зерна и о разразившемся страшном голоде 1932-1933 годов, унесшем миллионы жизней, причем в самых хлебных районах; о многочисленных — измерившихся тысячами — случаях крестьян-

ских волнений, жестоко подавлявшихся вооруженными отрядами внутренних войск и частями регулярной армии; о массовом выходе голодающих крестьян из колхозов и их бегстве из обнищавших деревень в города.

Как на один из примеров того, до какой бесчеловечной жестокости доходили тогда в своих репрессивных мерах власти по отношению к голодающему населению, исследователи указывают на закон от 7 августа 1932 года «против расхитителей социалистической собственности в колхозах». В секретных донесениях с мест уже тогда не скрывалось, что на практике этот закон в условиях голода означал: за каждый срезанный колосок — жесточайшее наказание. Этот закон открывал путь для ложных доносов, полного произвола и весьма скорой расправы. Он стал известен и в ингерманландских деревнях. Между прочим, по этому закону чуть ли не схватили по соседскому доносу одну из моих тетушек в Алакюля. В бане у соседа обнаружилось несколько свекол, якобы сорванных с колхозного поля, и сосед, дабы обелить себя, счел за лучшее донести на соседку. Допросы и обыски, рыдания и переполох на всю деревню — ведь угодить в тюрьму и исчезнуть бесследно стало до ужаса просто и обыденно. Моя бедная тетушка несколько месяцев не могла оправиться от шока, а соседские отношения были навсегда отравлены. Люди стали подозрительными и боялись друг друга.

Другим актом беспримерной жестокости был закон от 6 декабря 1932 года, по которому в «черные списки» с передачей в органы ОГПУ включались целые голодающие деревни и районы «за саботаж и диверсии» при проведении плановых государственных хлебозаготовок, выполнить которые колхозы не могли. По этому закону пострадали не только рядовые колхозники, но и местное руководство, начиная с колхозных председателей и дальше до районного и областного начальства.

Новейшие исследователи приходят к выводу, что главные причины повального голода начала тридцатых годов (сам Сталин признал впоследствии, в 1940 году, что голод охватил 25-30 миллионов человек) были не экономические, а скорее политические. Голодало население на огромных территориях страны, включая Украину, Дон, Кубань, Северный Кавказ, Центрально-Черноземную область, Поволжье, Казахстан и южный Урал, часть Западной Сибири. Хотя некоторые районы в 1932-1933 годах и пострадали от неурожая, но не настолько, чтобы в стране не хватало зерна, которое продолжали даже экспортировать. Сталинская «сплошная коллективизация» и «ликвидация кулаче-

ства» были по существу возвратом к насильственной политике «военного коммунизма» периода гражданской войны. И недовольство крестьян достигло такой степени, что в некоторых секретных донесениях говорилось о реальной опасности новой гражданской войны.

За неимением точных данных о жертвах голода и других печальных последствиях репрессивной политики властей в деревне исследователи вынуждены довольствоваться приблизительными подсчетами, которые несколько разнятся между собой у разных авторов. Большинство сходится на том, что непосредственно от голода 1932-1933 годов погибло около семи с половиной миллионов человек, а в результате раскулачивания из родных мест было сослано от шести до десяти миллионов человек. Общее количество крестьянских дворов за период 1929-1937 годов сократилось на 5,7 миллиона (одну пятую часть), общее количество сельского населения — на 25 миллионов человек. И это, конечно же, не только следствие процессов урбанизации, но и печальный итог насильственных выселений и произвола. Оставшимся в колхозах крестьянам тоже пришлось немало вытерпеть. Современный исследователь пишет обо всем этом без обиняков: «Принудительная коллективизация означала коренной рубеж в раскрестьянивании деревни. Крестьянин из мелкого или среднего собственника фактически превратился в крепостного работника советского государства <...> Крестьянство в прежнем понимании этого слова перестало существовать»¹.

Представление о том, как это выглядело конкретно на местах, дает выдержка из письма Михаила Шолохова, в котором речь идет о насильственных хлебозаготовках и голоде на Дону, в частности, в родном ему Вешенском районе еще весной 1930 года. Писатель рассказывал о своих поездках и наблюдениях: «Я мотаюсь и гляжу с превеликой жадностью... Гляжу на все. А поглядеть есть на что... Хорошее: опухший колхозник, получающий 400 граммов хлеба пополам с мякиной, выполняет дневную норму. Плохое: один из хуторов, в нем 65 хозяйств. С 1-го февраля умерло около 150 человек. По сути — хутор вымер. Мертвых не захоронят, а сваливают в погреб. Это в районе, который дал стране 2 300 000 пудов хлеба. В интересное время мы живем! До чего богатейшая эпоха!»².

В 1933 году Шолохов отважился написать два письма Сталину, первое в феврале, второе в апреле³, в которых бил тревогу о нарастающей катастрофе и бесчеловечном обращении местных властей с голодающими крестьянами. Поскольку план хлебозаготовок по колхозам Вешенского района остался невыполненным, сообщает Шолохов, самодур-партсекретарь распорядился изъять у крестьян все зерно, а когда истощенные вконец люди начали в отчаянии прятать его в любых местах подальше от дома — зарывать в поле, в оврагах, в снежных сугробах, опускать в пруды и речки, их стали при допросах садистски пытать, изгонять целыми семьями с детьми из теплых домов на мороз, требуя открыть тайники и отдать зерно. «Было официально и строжайше воспрещено, — писал Шолохов, — остальным колхозникам пускать в свои дома ночевать или греться выселенных. Им надлежало жить в сараях, в погребках, на улицах, в садах. Население было предупреждено: кто пустит выселенную семью — будет сам выселен с семьей. И выселяли только за то, что какой-нибудь колхозник, тронутый ревом замерзающих ребятишек, пустил своего выселенного соседа погреться. 1090 семей при 20-градусном морозе изо дня в день круглые сутки жили на улице <...> Я видел такое, чего нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском Лебяженского колхоза, ночью, на лютном ветру, на морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве же можно так издеваться над людьми?» Писатель настаивал на энергичном вмешательстве высшего руководства с целью прекращения бесчинств, на оказании срочной и достаточной, а не показушно-формальной продовольственной помощи голодающим. О масштабе бедствия — даже в рамках одного Вешенского района — свидетельствуют следующие цифры в письме: «Из 50 000 населения голодают никак не меньше 49 000».

На оба шолоховских письма Сталин ответил без особых отлагательств письмом от 6 мая 1933 года, которое можно считать прямо-таки образцом вождистского

¹ Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание. Кооперативный план: иллюзия и действительность. М., 1995. С.68-65. См. также сборник статей: Голод 1932-1933 годов. М., 1995.

² Цит. по: Никольский С.А. Власть и земля. М., 1990. С.218.

³ Оба письма Шолохова и ответ Сталина см.: Шолохов и Сталин: переписка начала 30-х гг. (Вступ.ст. Мурина Ю.Г.) «Вопросы истории», 1994, № 3. С.3-24.

хладнокровия твердокаменного стратега, которому было не до трупов на поле битвы. Трагизм описанной Шолоховым ситуации вождя ничуть не тронул — более того, акцент в ответе сделан как раз на том, чтобы решительно «поправить» взволнованного и возмущенного писателя, показать «односторонность» его взгляда на происходящее и общую стратегическую линию. Впрочем, для выправления местных «перегибов» в ответе обещано послать специального уполномоченного, чтобы во всем разобраться, однако крутых правительственных мер к «саботажникам» это вовсе не отменяло. Сталин писал: «Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не

меняет и того, что уважаемые хлеборобы по сути вели «тихую войну» с Советской властью. Война на измор, дорогой тов. Шолохов».

Иначе говоря, классовая борьба в голодающих деревнях и на этот раз все оправдывала — хлеб от колхозов власти должны взять любой ценой.

В отличие от наиболее пострадавших районов страны, в ингерманландской деревне (как и в Карелии) не было столь бедственного положения, голодной смертью люди не умирали. Но и в ингерманландских колхозах в начале тридцатых годов жилось трудно. Во всей стране надолго установилась карточная система на хлеб и хронической стала нехватка продовольствия.

НЕМНОГО КОЛХОЗНОЙ РОМАНТИКИ

По числу крестьянских дворов деревня Алаколя раза в полтора больше моей родной деревни Финно-Высоцкое. Почти вплотную к Алаколя примыкала Уккола, деревня поменьше, которую иногда называли Малой Алаколя. Но колхозы в этих деревнях-соседях были отдельные — тогда еще не объединялись деревнями ради укрупнения колхозов, еще не поступило сверху соответствующей команды.

Колхоз в Алаколя начался с объединения всего лишь четырех самых бедных крестьянских хозяйств, которым пообещали государственную помощь. Этим первым колхозникам дали хороших лошадей и инвентарь, реквизированный у кулаков, поделили семена и скот. Это должно было поощрить остальных крестьян, но, поскольку они не спешили подавать заявления, потребовались более решительные меры: вызовы в сельсовет, угрозы добавочного налогообложения, а то и раскулачивания с последующим «изъятием кулацких и антисоветских элементов из деревни», как это звучало тогда на официальном языке. Именно высылка кулаков летом 1931 года явилась самой действенной и самой наглядной «агитацией» за колхозы, ибо это уже не просто слова, но и практические дела — власти не намерены шутить. В особенности женщины, матери многодетных крестьянских семейств, напуганные таким развитием событий, возвращались из сельсовета со слезами, чтобы заставить своих мужей тут же написать заявление в колхоз. Была опасность запоздать — смыть клеймо кулака потом трудно. Еще в конце 1930 года высшими правительственными инстанциями издано специальное постановление «О недопущении ку-

лаков и лишенцев в кооперацию» (лишенцами называли лиц, лишенных гражданских, в том числе избирательных, прав). В этом случае раскулачивание и размежевание крестьян становилось уже самоцелью: кулаки — отдельно, колхозники — отдельно.

И все-таки в тогдашней деревенской жизни рождалось и что-то хорошее, вселявшее какую-то надежду в людские души. Еще в 1928 году, накануне коллективизации, в Алаколя возникла своя начальная школа. В деревню приехала молодая учительница Люли Лампинен (в замужестве Вяря), окончившая за три года до этого педагогический техникум в Гатчине. Люли Петровна уже давно живет в Петрозаводске, я имел возможность встретиться со своей давней учительницей, чтобы вспомнить прошлое. Судьба Люли Петровны похожа на многие ингерманландские судьбы. После закрытия финских школ в Ингерманландии она учительствовала в русских школах, оказалась во время войны в немецкой оккупации и была вывезена в Финляндию, репатриировалась и добралась до Карелии.

Люли Петровна рассказывает, что та, основанная в 1928 году, школа в Алаколя помещалась в первом реквизированном кулацком доме, который стоял посреди деревни и в котором потом разместилось правление колхоза. Я в том помещении не учился, к моему приезду в Алаколя школа уже успела переместиться в другой, более просторный реквизированный кулацкий дом, сосланные владельцы которого были нашими родственниками, хотя мне в деревне почти совсем не пришлось с ними общаться. Но, как видим, кулацкая дома-школы со-

служили службу не только мне, но и вообще народному просвещению в начальную колхозную эпоху.

Между прочим, в освободившемся первом помещении школы в Алакуля открыли осенью 1931 года даже бесплатную колхозную столовую — это краткий утопический период в жизни местной коммуны, первая колхозная осень, когда собрали первый общий урожай. По меньшей мере для деревенских ребятишек, которые тоже столовались со всеми вместе, это было нечто недвигданное и потрясающее, светлое пятно в их только начинавшейся жизни и в череде последующих трудных лет. И в самом деле, разве не чудо: все желающие могли усестя за общий стол, всем накладывалась из общего котла пища, нечто вроде овощного рагу и, кажется, даже немного мяса — ешь, не хочу!

В сочетании с первым трактором и первой тракторной молотилкой в деревне эта бесплатная общественная столовая, просуществовавшая, к сожалению, недолго, была как бы агитационным плакатным символом начавшейся новой жизни.

Но главными на этом плакате были все же трактор с молотилкой. Трактор стал ключевым новшеством колхозной деревни, в том числе в «Красном труженике». О тракторах и трактористах тогда слагали песни, писались картины, выпускались кинофильмы. Пелось, например, в «Марше трактористов»: «Мы с железным конем все поля обойдем, соберем, и поседем, и вспашем! Наша поступь тверда, и врагу никогда не гулять по республикам нашим!»

На первых порах трактор и впрямь производил впечатление на сельских жителей. Крутя молотилку, он тархтел неподалеку от столовой, вокруг суетилось много людей, труд приобретал общественный характер: одни едва успевали подвозить снопы, другие подавали их в чрево барабана, третьи убирали зерно и солому. Дети вертелись под ногами, желая во всем участвовать, а готовящийся общий обед манил и того больше.

Также на рисунках в школьных учебниках замелькали тракторы, зерноуборочные машины, молотилки. Соответствующие печатались и тексты. Например, немецкий язык я начал изучать с памятных фраз эпохи: «Вир бауэн тракторен, вир бауэн моторен. (Мы строим трактора и моторы)». С начальных классов врезались в память рисунки в учебниках, где происходившие перемены изображались по принципу: раньше — и теперь. Раньше землю пахали деревянной сохой — теперь тракторным плугом; раньше хлеба жали

серпом — теперь тракторной жаткой (крупных зерноуборочных комбайнов еще не было); раньше молотили цепями — теперь молотилкой от тракторного привода. Я даже специально разыскал в библиотеке те старые учебники начала тридцатых годов, чтобы проверить свою память и сопоставить непосредственные детские впечатления от деревенской жизни с картинками в духе тогдашней пропаганды, в том числе школьной: «Книга для чтения» (для второго класса начальной школы), изданная в 1933 году в Петрозаводске, — по таким же учебникам тогда занимались и в финских школах в Ингерманландии.

Пропаганда, разумеется, многое упрощала и представляла в резко контрастном черно-белом цвете, без полутонов и нюансов. В Ингерманландии, например, уже давно не пахали деревянной сохой, обычным в крестьянском обиходе был металлический плуг, часто пароконный. Прежний земледельческий труд, конечно, тяжел, но ведь и при колхозах частичная его механизация еще не избавляла от многих видов тяжелых ручных работ, в отличие от идеальных картинок, стихов и рассказов в школьных учебниках.

Приведенным картинкам в упомянутой книге для чтения предшествовало бойкое стихотворение о тракторе и ударном труде под названием «Наш железный помощник». Согласно тексту, трактор должен помочь не только добиться всеобщего счастья, но и «добить всех кулаков». А бодрый припев детской песни трижды призывал: «Гей, гей, веселей! И смелее, и дружнее! Труд ударный, труд счастливый, мы — ударники полей». Стишок предшествовал картинкам, а после них — рассказ о том, как счастливо живет детям в колхозе. Раньше, до колхоза, у них не всегда было дома молоко, потому что отдыхала корова перед отелом, а теперь колхоз поил детей молоком постоянно. Раньше дети часто пропускали уроки по осени, потому что помогали родителям-единоличникам убирать урожай, а теперь урожай убирают машины — и т.д., и т.п., все в таком же духе.

К сожалению, тогдашняя пропаганда, впадая в крайности и упрощения, оставалась по-детски наивной не только в учебниках для второклассников, но и в предписаниях для вполне взрослых людей, крестьян с вековым земледельческим опытом. И что еще печальнее, в крайности впадала не только пропаганда, но и сама колхозная жизнь, ее хозяйственная практика.

Под видом решительной ломки мелко-собственнической психологии грубо и

бездумно помался вековой земледельческий опыт. Все надежды возлагались на будущие успехи еще очень шаткого общественного хозяйства, которое не мог-

ло, как вскоре выяснилось, возместить крестьянину даже того, что он имел прежде и чего лишился после вступления в колхоз.

КОГДА САМ НИЧЕМУ УЖЕ НЕ ХОЗЯИН

В последние десятилетия советского периода было немало написано о социально-психологических проблемах колхозного крестьянина, о его отношении к земле. В обстановке обострения аграрного кризиса и разгула бесхозяйственности актуальным стал пропагандистский призыв: земля нуждается в хозяине! Время от времени предлагались разные способы повышения заинтересованности земледельца в своем труде — был «звеньевой метод», «бригадный подряд» и т.п. Но должного эффекта все это не давало, несмотря на громкие партийные постановления и усиленную пропаганду.

В наше «постперестроечное» время стало модным говорить об особой аграрной «ментальности» крестьянина, причем подразумевается уже крестьянин-собственник, владеющий землей, наподобие западного фермера. Но и наш опыт фермерства пока что малоутешителен; падение сельскохозяйственного производства продолжается, и еще неизвестно, скоро ли наступят перемены к лучшему. К сожалению, наш опыт показывает, что и фермер-собственник при «свободных ценах» и рыночных отношениях может быть поставлен в такие условия, когда после долгих мытарств он бросает свою собственность и проклинает ее вместе с властями предрезающими, опутавшими всю его хозяйственную деятельность и инициативу непосильной кредитно-налоговой кабалой.

Видимо, сама по себе форма земельной собственности еще не гарантирует процветания. К тому же форма собственности — категория историческая, менявшаяся в ходе общественного развития. Об этом пойдет речь чуть позже, а сейчас необходимо подчеркнуть, что едва ли не главная беда колхозной собственности в том, что она не была фактически колхозной и не колхозники ее хозяева.

Еще до колхозов, при тогдашнем режиме власти, крестьянин стал утрачивать чувство хозяина. Была политика «военного коммунизма», были «твердые задания» непозволительных лет. Коллективизация довершила начатое до нее.

Мой двоюродный брат Пекка Пуранен, который в детстве рос без отца, рассказы-

вает, что как раз незадолго до коллективизации он, шестнадцатилетний подросток и старший мужчина в доме, сумел накопить денег на покупку приличной лошади, с которой, однако, сразу же начались приключения по сценарию властей. Сначала лошадь мобилизовали по «твердому заданию» на оборонные работы на границу, причём самому хозяину, поскольку он — подросток, ехать не обязательно. Но отдавать лошадь в чужие руки он тоже не рискнул — так с нею вообще можно расстаться. Он отработал на лошади свой срок на границе, а по возвращении ее обобществили и забрали в колхозную конюшню. О том, как приходилось потом выпрашивать у колхозного представителя уже обобществленную лошадь, чтобы привезти воздров или отвезти женщин-молочниц на железнодорожную станцию, будет рассказано в дальнейшем.

Ныне восьмидесятидвуухлетний Пекка Пуранен вспоминает обо всем этом спокойно и примиренно, он вообще очень скромный и смиренный человек без лишних претензий, тихо доживающий свой век на маленькой пенсии. В свое время, оставшись без лошади, он пошел на курсы трактористов и довольствовался тем, что труд механизаторов оплачивался несколько лучше, чем рядовых колхозников. И все-таки ту первую и последнюю свою лошадь, как и связанные с нею приключения, он не забыл. Нет больше деревни Алакуля, но воспоминания остались, в них теплится чувство родины и чего-то стабильного, что связано с деревенской жизнью, потом порушенной.

Сколь ни скромна мелкокрестьянская собственность, нажитая трудом всей семьи, она являлась ее опорой, и без уверенности в том, найдется ли этой собственности достаточная замена, расставаться с нею не только жаль, но и рискованно.

Мужчины из крестьян вспоминают о лошадях, а женщины, естественно, о коровах. Моя учительница Люли Вяря из Алакуля рассказывает, что, когда она выходила замуж, отец подарил молодой семье корову. Но поскольку в доме мужа уже была корова, то отцовский подарок пришлось

отдать колхозу — держать двух коров даже в больших крестьянских семьях не разрешалось, хотя молоко — едва ли не главное подспорье в тогдашнем питании, ибо на молоко выменивался в городе и хлеб, которым колхоз не обеспечивал.

Сейчас, по прошествии лет, кажется, что тогдашняя аграрная политика имела своей главной целью «равенство в бедности», сознательную пауперизацию и пролетаризацию крестьянства.

Корова и более чем скромный индивидуальный приусадебный участок стали надолго главной жизненной опорой колхозной семьи, ибо оплата общественного труда из общественных фондов оставалась слишком мизерной.

Та бесплатная колхозная столовая, которую открыли в Алакуля осенью 1931 года, тогда же и прекратила свое существование, а дальше дела в колхозе пошли хуже некуда. Земли в Алакуля бедны и малоплодородны, должным образом они не удобрялись и не обрабатывались. Колхоз едва справлялся с обязательными государственными поставками сельхозпродуктов, за которые выплачивали мизерные суммы — в 10-12 раз меньше рыночных цен, то есть ни в коей мере не окупалась даже их себестоимость, а иных общественных доходов у колхоза не было. На оплату трудодней колхозникам оставались гроши; низка и натуроплата зерном и картофелем. Более или менее гарантированно оплачивался только труд механизаторов — трактористу в Алакуля полагалось на трудодень по три с половиной кило зерна и два с половиной рубля деньгами, что для рядового колхозника было недостижимым.

Но и индивидуальное хозяйство с коровой и огородом площадью 0,25 га обкладывалось непомерными налогами. Государству надо сдать в год по 250 литров молока, 250 килограммов картофеля, немалую сумму денег. Пекка Пуранен вспоминает, что для выплаты денежного налога ему пришлось отдать всю выручку за проданную на мясо свинью. Налогами облагалось все — овечка ли, курица или ягодный куст.

Помимо налогов, колхозник стеснен многими другими обстоятельствами, он зависел от воли и прихотей многих лиц — колхозного председателя, бригадира, агронома, зоотехника и даже конюха, который мог дать ему самую захудалую лошадь и сбрую для того, чтобы вспахать огород или перевезти какой-нибудь груз. Ведь это — уже не своя лошадь, а колхозная, ее приходилось выпрашивать как ми-

лость и терпеливо ждать своей обещанной очереди. Так и с выделением сенокосов для личной коровы, равно как и с получением разрешения на ее пастбищу в общем колхозном стаде. Учительница Люли Вяря рассказывает, что, поскольку у нее не было трудодней, колхозный председатель распорядился не пускать ее корову в стадо, и только после жалобы уполномоченному из района это самоуправство устранили.

Между тем корова, как уже говорилось, — главная надежда и спасительница крестьянской семьи. Кстати сказать, еще в «Калевале», где много поэтических заклинаний-оберегов, в которых хищных лесных зверей просят не навещать пастбища, не о единственной крестьянской корове идет речь, а именно о стаде коров, и хозяйка Илмаринена в своем заклинании наделяет их множеством ласковых имен.

У колхозной хозяйки корова была одна-единственная, и ее берегли пуще глаза, всячески подкармливали для улучшения надоев. Уже по ранней весне, едва зазеленеет земля, бабушка Анни и тетушка Мария в Алакуля просили меня взять лукошко и нарвать сочной травы с полевых межей и обочин дорог, чтобы подкормить корову после пастбища, и так повторялось ежедневно.

Соответственно и с молоком от единственной коровы приходилось обращаться сверхэкономно, ибо его должно хватить на все: и малым детям в доме, и для пропитания всей семьи, и на продажу в обмен на хлеб в городе, потому что хлеба в колхозе не давали и карточек на его покупку в магазине колхозникам не полагалось. Поэтому за расходом молока в доме нужен глаз да глаз, как и за расходом дефицитного хлеба.

Об этом прискорбно вспоминать, но одной из первых русских частушек, которую усвоили ингерманландские колхозники еще в начале тридцатых годов, была частушка о хлебе: «Когда Ленин умирал, Сталину наказывал: много хлеба не давай, мяса не показывай». Ее отаживались петь и пересказывать лишь самые отчаянные смельчаки, и то вполголоса, с оглядкой, ибо она квалифицировалась как антисоветская, и не один исполнитель оказался, наверное, из-за нее за решеткой. Но в ней тем не менее отразилась горькая правда: хлебного изобилия в деревне не было, а мясо на крестьянском столе вообще стало редчайшей роскошью.

Одновременно приведенная частушка явилась как бы ответом на вполне санкци-

онированную и поощряемую частушечную пропаганду с клубных сцен и со страниц печатных изданий в пользу колхозов примерно в таком духе:

Мы зажиточными стали,
Бедность не воротится.
Дорогой товарищ Сталин
Обо всех заботится.

ИЗ КОЛХОЗА В ГОРОД ЗА ХЛЕБОМ

Приведу еще одну агитационную частушку той поры, чтобы соизмерить ее с реальной действительностью.

Раньше жили, горевали,
хлеб на рынке покупали,
а теперь пришла пора —
свой вывозим со двора.

К сожалению, дело обстояло таким образом, что колхозный хлеб действительно вывозили со двора, но сами колхозники все-таки вынуждены были покупать хлеб для себя в городе на рынке, выменивая его на молоко от единственной коровы.

Дважды, а то и трижды в неделю колхозницы из Алакюля и других ингерманландских и русских деревень отправлялись с молочными бидонами в город — на рынок или прямо на ленинградские квартиры к своим постоянным покупателям.

Сначала нужно было добраться до пригородной железной дороги, и если ближайшая станция была не дальше 3-4 километров, то женщины шли пешком с бидонами и узлами за спиной и таким же образом возвращались вечером с ношей хлеба и других продуктов. Так, пешим порядком, осуществлялись тогда регулярные рыночные походы моих тетушек из деревень Рюэмя и Райккоси. Они, уже немолодые женщины, так привыкли к этой тяжелой необходимости, что даже забывали жаловаться на свою усталость. В летнее время, чтобы было хоть немного легче, а заодно и ради экономии обуви, они снимали ее и шли по луговым тропам напрямик к станции и обратно босиком.

Но от Алакюля до станции Красное Село не менее десяти километров, и только у редких женщин хватало сил прошагать их с грузом пешком. Обычно группа колхозниц в пять-шесть человек выпрашивала у председателя лошадь, которая увозила их до станции и привозила обратно со станции. Лошади для таких поездок выделялись не лучшие, и с повозочными тоже трудно — соглашались либо старики, либо мальчуганы, поскольку вознаграждение было скромным: первым женщины

покупали в благодарность пару пачек дешевых папирос, а вторые получали что-нибудь сладкое. Трудодней за поездки не полагалось.

Со временем, в 1932-1933 годах, в такие поездки стали иногда брать и меня, и они запомнились, поскольку это было первое мое знакомство с иной средой по сравнению с деревенской. Возница с лошастью находился на станции целый день, ожидая возвращения молочниц; в его обязанности входило караулить лошадь, вовремя накормить и напоить ее. Мне было тогда восемь-девять лет, русского языка я еще совсем не знал, но выручало то, что я не один такой на станции — были повозки из других ингерманландских деревень с более взрослыми караульщиками-возницами, из которых кто-нибудь умел говорить по-русски и помогал другим. Повозки находились на станции скученно в специально отведенном месте, мои спутницы уже утром поручали какому-нибудь старику опекать меня и, главное, обучить обращению с лошастью. Так что в этих поездках я проходил курсы заправского возницы, научился разнуздывать лошадь во время кормления, расслаблять подпругу у водопоя и т.п. На водопой я вскоре осмелился ездить один и очень удивлялся тому, что лошадь слушалась меня. Мне не терпелось хотя бы разок прокатиться с ветерком, но изможденные колхозные лошади отказывались бежать даже с пустой повозкой.

Однажды под весну мы выехали еще на дровнях, а не на телеге, и по раннему утреннему морозцу все шло хорошо. День я провел, как обычно, на станции в Красном Селе, кормил и поил лошадь, подкреплялся и сам той едой, которую оставили женщины. Конец марта, весь день пригревало солнце, и снег на пристанционных дорогах, где больше движения, начал уже подтаивать, так что проезжая часть во многих местах оголилась. Воробьи чирикали у рощицы возле подвод, их привлекал конский навоз, и некоторые из них отваживались порхать прямо под повозками. А чуть поодаль по путям пыхтели паровозы, поезда останавливались на минуту и неслись дальше. Де-

ревенскому мальчишке было на что поглядеть, и хотя мне строго наказывали не отлучаться от лошади и опекунов, любопытство взяло верх, и я решил сбежать ненадолго к вокзальному зданию, чтобы посмотреть, какое оно изнутри и что же там делается.

Уже снаружи у вокзала я увидел множество плохо одетых мужчин, женщин, детей, очень исхудавших, с бледными лицами и провалившимися глазами. Иные лица, напротив, совсем отекали, и тогда полузаплывшие глаза чуть выглядывали. Многие из них не могли стоять, они сидели и полуплежали на скамейках и на крыльце у входа, а все помещение внутри вокзала было забито лежащими на полу; торчали обутые в лапти ноги, затхлость исходила от грязной одежды, неухоженных и изможденных тел, некоторые были совсем недвижны. Разглядывать все это пришлось недолго, милиционер вывел меня вместе с другими любопытствующими из помещения, да и мало кто из ходячих там долго задерживался.

Увиденное навсегда и очень зримо осталось в детской памяти, хотя умом своим я нескоро до конца постиг, что же это такое. Женщины-молочницы сказали мне, что это понаехали откуда-то голодающие люди, оставившие свои деревни в надежде спастись от голодной смерти где-нибудь в городе.

Только много лет спустя общий масштаб бедствия стал проясняться из появившихся публикаций. И меня поразило, когда в конце восьмидесятых годов прочел в «Новом мире» посмертно опубликованные воспоминания прозаика Владимира Тендрякова, описавшего увиденную им в детстве картину (он родился годом позже меня), очень схожую с той, которую довелось увидеть мне в Красном Селе под Ленинградом. Владимир Тендряков наблюдал голодающих людей в 1933 году совсем на другом железнодорожном вокзале в каком-то уральском городке, причем он имел в виду брошенных на произвол судьбы ссыльных кулаков («куркулей»), но в беде оказались не только они. Вот как запечатлен этот увиденный писателем эпизод:

«У прокопченного, крашеного казенной охрой вокзального здания, за вылуценным заборчиком — сквозной березовой скверик. В нем прямо на утоптаных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.

Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться — если не утерян — замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит та-

кую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества <...>

Одни из них — скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздутые — вот вот лопнет посиневшая от напряжения кожа, тела колышутся, ноги похожи на подушки, пристроенные грязные пальцы прячутся за напыльями белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди.

Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьи широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источал от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирая пальцы с такой энергией и упорством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли...

Больше всего похожи на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали — спали»⁴.

Нечто похожее происходило тогда на сотнях российских вокзалов — голодная деревня устремилась в город, их «смычка» обрела ужасные формы.

Из Красного Села наша повозка с колхозницами и раздобытыми в городе буханками хлеба возвращалась уже в полутьме по растаявшей за день дороге. На Ропшинском шоссе снег лежал только на обочинах, проезжая часть совсем оголилась, и обитые железом санные полозья скрежетали о песок и щебень. На обратном пути с нашей тягловой силой случилась беда. Еще недавно это был справный и ладный конь из тех, на которых прежние хозяева любили ездить в гости с форсом в легких рессорных двуколках. Но в колхозе береженого красавца совсем заездили и заморили, бедняга исхудал и обессилел, на оголенном шоссе он стал часто останавливаться, тащить груженные дровни со многими пассажирами ему было не вмоготу. Женщины шли вслед за санями пешком, но лошади все равно было тяжело, она спотыкалась и даже падала от слабости, и нам приходилось сообщать ее поднимать, а она смотрела на нас ви-

⁴ Тендряков В. Рассказы. «Новый мир», 1988, № 3, с.18-19.

талась и мне. Когда много десятилетий спустя я был снова в гостях у Антти, но уже не в ингерманландской деревне Алаколя, а в финском городе Тампере, где он жил вполне благополучно, я рассказал ему эту давнюю историю со сливками, и он вместе с женой весело посмеялся.

Но в начале тридцатых годов было не до смеха — даже в полусытых ингерманландских деревнях, не говоря уже о тех бедствовавших районах, где голод доводил отчаявшихся и обезумевших людей до каннибализма.

Да и в нынешнее время, которое принято для краткости называть «трудным и непростым», не без оговорки воспринимаешь древнюю истину: не хлебом единым жив человек. Это верно, конечно, но и хлеб насущный необходим каждому.

А между тем статистика говорит, что каждый пятый человек в мире голодает или недоедает, в одной Африке около восьмисот миллионов голодающих.

Что-то и на наших улицах прибавилось нищих, люди интеллигентного вида роются в помойках, собирают в парках пустые бутылки.

На днях знакомая рассказала следующий бытовой факт. В булочной к ней подошла женщина и, преодолевая неловкость, но сохраняя достоинство, с улыбкой сказала: «Вы не купите мне полбуханки хлеба?» Было видно, что она не попросайка, но обстоятельства иногда заставляют поступиться частичей гордости. Хлеб ей купили, и она с улыбкой поблагодарила.

Допускаю, что кое-кто из сытых и никогда не голодавших людей может попросту отмахнуться от такого частного факта и сослаться на общее улучшение торговли — с его тугим кошельком он это хорошо почувствовал.

Но, хотя поговорка и гласит, что сытый голодного не понимает, все-таки лучше попытаться понять. Сам я в молодые годы испытал и голод, и хроническое недоедание, и поскольку это тоже стрихи времени, общие для многих моих сверстников, есть резон немного поговорить об этом, а не просто отмахнуться как от досадного темного пятна, омрачившего наш светлый путь.

Более или менее сытая жизнь для меня кончилась в раннем детстве после родительской ссылки, а дальше потянулась длинная полоса всяческих нехваток, частичного недоедания, а то и голода, и это длилось с небольшими перерывами полтора десятка лет. Сюда входят тридцатые годы с их карточной системой на хлеб, затем год в школьном интернате в Повен-

це, опять-таки в отрыве от родителей, живших за сто пятьдесят километров в Римском и не имевших достаточно денег, чтобы сносно поддержать упрямого юнца, пожелавшего закончить десятилетку; затем четыре года войны, из которых два с лишним года прошли в стройбате, где люди отчаянно воевали с дистрофией; наконец, первый послевоенный студенческий год с продуктовой карточкой на четыреста граммов хлеба и один жалкий столовский обед в сутки. Для иногородних студентов, не имевших никакой поддержки, это было почти невыносимо, и некоторые студенты-фронтовики уходили из университета, а когда я после двух месяцев такой учебы навел на покойную сестру, она даже заплакала, испугавшись моей худобы. Поэтому для моего поколения студентов не было большей радости, чем отмена карточной системы осенью 1947 года, — ужасная пора недоедания все-таки кончилась, можно было зарабатывать деньги и покупать на них еду, самую простую и необходимую.

Продолжительное голодание действует на психику — это прекрасно описал Кнут Гамсун в романе «Голод». В стройбате я видел юношей, которых голод и дистрофия моментально разлагали, им потом, наверное, очень трудно было восстановиться психологически.

Даже на детской психике постоянная нужда в семье отражается ущербностью. Ребенок слышит бесконечные разговоры о нехватках, при карточной системе он знает, что вместе с бабушкой и дедушкой, маленькими братиками и сестричками все они — иждивенцы, которым положен иждивенческий, а не рабочий продуктовый паек, всего лишь четыреста граммов хлеба. И застенчивый ребенок еще подумает, взять ли ему за обедом второй кусочек хлеба или воздержаться; он в постоянной растерянности и не знает, как вести себя; его никто не остановит и не упрекнет, но он не уверен и начинает стыдиться своего голода. Это ужасное для растущего и чуткого ребенка состояние, знающего, что хлеб нужен взрослым, что они работают на тяжелых работах на морозе и ветру и что «иждивенцам» положено довольствоваться малым. В Хибинах мои взрослые братья, уходя на работу, брали с собой на обед по два намазанных маргарином ломтика хлеба, и такой же паек мне давала мать в школу (семь километров от дома), который я съедал уже в пути.

В Ингерманландии в тридцатые годы наши родственники в колхозах жили по-

разному — разными были семьи, по-разному велись колхозные дела, различались земли, свою роль играло и расстояние до рынков Ленинграда. В деревнях Рюэмя и Райккоси колхозники жили чуть получше, чем в Алакюля или Финно-Высоцком. Многие зависело от расторопности и деловитости председателя, от того, осмеливался ли он хотя бы часть производимой колхозом продукции уберечь от обязательных госпоставок и продать на городском рынке за куда более высокую цену, чем платило государство. Такие торговые операции проводились тайком, на рынок направляли надежных людей, обычно женщин, которые продавали колхозное молоко или картошку как свою, а выручка шла в общую кассу, чтобы было из чего платить за трудодни колхозникам. Подобная председательская хитрость была связана с немалым риском, за это могли и суду предать, но без риска колхозная касса была бы пуста. А между тем в Рюэмя за трудодень платили даже по три рубля — почти невероятную сумму по тому времени.

Когда мне доводилось во время школьных каникул гостить у своих тетюшек в Рюэмя или в Райккоси, они старались получше накормить кратковременного гостя. Но я не один нуждался в помощи — были в нашей родне и другие ссыльные семьи, другие дети, подростки, взрослые, попавшие в беду, возвращавшиеся из трудармии без денег и опоры. Оставшаяся в деревне родня старалась помочь нам сообща, и я бесконечно благодарен своим родственникам за приют и заботу, хотя им самим жилось нелегко.

Репутацией наиболее зажиточных и благополучных пользовались два немецких колхоза неподалеку от Рюэмя — «Рот фронт» и «Роте фанэ» («Красный фронт», «Красное знамя»). Там жили и трудились советские немцы, которых в народе все еще называли «колонистами», — это были потомки приглашенных российскими властями переселенцев из Германии от петровских и екатерининских времен. В тех двух немецких колхозах я сам никогда не был, но о них много говорили в соседних ингерманландско-финских деревнях. Шла молва о том, что у них совсем другой уровень ведения хозяйства, другие доходы, другой быт: просторные дома, хорошие дороги, крепкие лошади и даже грузовые автомобили, породистый скот, высокие урожаи трав и других культур. К ним просились люди из других колхозов, но немцы хотели жить в своей автономной среде со своими школами и клубами, своей культурой.

Потом в Хибиных, в смешанном ссыльном интернационале, я вплотную столкнулся с советскими немцами, тоже ссыльными. В нашем бараке в поселке Юкспориоки жила немецкая семья по фамилии Штро. Мальчик Яша Штро, не по возрасту серьезный и рассудительный, а вместе с тем увлекающийся и претендующий на роль лидера, учился вместе со мной в одном классе. К сожалению, он опасно простудился на полярных ветрах и умер от скоротечного воспаления легких; для нас, его одноклассников, эта первая запомнившаяся смерть товарища. Его мать, смуглокожая темноволосяя женщина, частенько пыталась при встречах втянуть нас в разговор на немецком языке. Немецкому языку тогда обучали в школе, и учительница у нас тоже была из ссыльных немцев. Мать Яши Штро, встретив мальчишек в барачном коридоре или на улице, с улыбкой говорила нам: «Гутен таг».

Со ссыльными немцами я встретился затем накануне войны в Карелии, в поселке Пиндуши, где их было несколько сот человек. Они работали на местной судовой верфи и жили кучно в двухэтажных бараках. В первые же недели войны их срочно погрузили под охраной в товарные вагоны и увезли куда-то в глубокий тыл. Большинство из них были из тогдашней Республики Поволжья, которая потом была ликвидирована как национально-административная территория.

А уже после окончания войны и демобилизации из армии я столкнулся со ссыльными немцами в Киргизии, в Чуйской долине, куда были эвакуированы и где скончались мои родители. Там тоже был ссыльный интернационал, включавший и немцев, и финнов, и предателей кавказских и других народностей.

Между тем непосредственно в послевоенных условиях это едва ли не самый сытый край в тогдашнем государстве. Меня очень удивило, что во Фрунзе, столице Киргизии, можно было за десять рублей поесть в чайхане или на рынке у торговки, а в совхозах продавали кукурузу по рублю за кило. В северных областях, в том числе в Карелии, о таких ценах и мечтать не могли, большинство людей и в городах, и на селе недоедали. Когда я приехал в 1946 году учиться в Петрозаводск, на месячную студенческую стипендию можно было купить на рынке разве что кило хлеба или пачку папирос. Еще во Фрунзе я серьезно думал, не остаться ли учиться там, уж очень пугало северное недоедание. Но в Киргизии пу-

гало другое: невыносимая, по рассказам северян, летняя жара, весьма распространенная тогда малярия, нехватка топлива и зимой, и летом, отчего и кукурузные лепешки приходилось есть полусырыми, потому что печи топили либо сухой сорной травой, либо ворованной коноплей с колхозных плантаций. К тому же хотелось вернуться в привычные северные края.

Тем не менее даже кратковременное знакомство с разноплеменным приезжим населением Чуйской долины оказалось для меня очень интересным и надолго запомнилось. Не удержусь, чтобы не рассказать об одном эпизоде.

Примерно в пятнадцати километрах от совхоза, куда эвакуировали нашу семью, находился другой совхоз, где жили наши знакомые, и я со старшим братом, демобилизованным чуть раньше меня, отправились их навестить. Была довольно морозная февральская погода со снегом, шли пешком, повидались со знакомыми. На обратном пути уже под вечер нас застал сильный снегопад, и мы, немного поплутав и боясь заблудиться окончательно, решили заночевать в первом же селении, огни которого увидели в темноте. На самой окраине стояли низенькие глиняные хижинки, в которых жили, как нам сказали, черкесы и кабардинцы. Дальше — жилища покрупнее, настоящие дома, возможно, даже из дерева, которое в Киргизии ценилось очень высоко. В совхозах бараки были саманные с земляными полами, получить демобилизованному солдату дощатый топчан было целой проблемой, на базаре одна доска стоила невероятно дорого.

Но в тех домах покрупнее с деревянными крылечками и полами жили немцы, сумевшие каким-то образом их построить, потому что привыкли всюду жить соответственно своим обычаям и даже в ссылке обосновались основательно.

Впрочем, на ночлег в эти дома мы с братом не попали. Постучавшись в две-три двери, мы слышали в ответ осторожный женский голос с объяснением, что в доме нет мужчин и что пустить поэтому нас не могут.

Мы вернулись на окраину к глиняным хижинам. В первой же из них нас встретил очень вежливо мужчина, сказавший, как само собою разумеющееся, что мы можем переночевать и будем его гостями. Вскоре девочка-подросток помогла нам умыться перед ужином, нас усадили в комнатке на низеньких скамейках, перед нами был низенький стол с кавказской едой и козьим молоком. После ужина и беседы нас отвели в другую комнатку,

где на полу были приготовлены постели. Когда мы уже улеглись рядом, брат вполголоса пошутил, что после столь дружеского гостеприимства нас наверняка не заколют во сне кавказским кинжалом, и мы благополучно уснули.

Утром, проснувшись чуть свет и стараясь не очень беспокоить хозяев, мы вышли на улицу, чтобы оглядеться и все же как-то их отблагодарить перед уходом. Вышел хозяин и сказал, что скоро будет готов завтрак, его девочка предложила умыться. От завтрака мы отказались, поблагодарили за ночлег и, немного поколебавшись, решили предложить сколько-то денег из своих тощих солдатских кошельков, но сразу поняли, что совершили оплошность и нарушили принятый у этих людей ритуал гостеприимства. Хозяин обиделся, и нам стало неловко. Он проводил нас словами: «Сегодня вы были моими гостями — завтра, может, я буду вашим гостем».

Мы шли по снежной равнине, находясь все еще под впечатлением неожиданного урока, преподнесенного самой обыденной жизнью. Сейчас мне видится в том эпизоде нечто от библейских притчей о бедности и добродетели. Более чем скромный быт в глиняной хижине — и словно притчевая по своей строгости нравственность ее обитателей. Есть все-таки, оказывается, подобные люди в реальной жизни, а не только в книгах о давно минувших временах. И если следовать здравому рассудку, у нас не могло быть особой обиды и на тех немецких женщин, не посмевших пустить нас в дом без мужчин, — наши собственные женщины, наверное, поступили бы точно таким же образом, мы даже сами требовали бы этого. И кто знает, может, мужчины тех немецких женщин находились в таких же стройбатах, в каком служил и я, и ведь были еще стройбаты и похуже, обнесенные колючей проволокой и с охраной, чтобы предотвратить побеги. Между прочим, в таком стройбате служил в войну юный Лео Ланкинен, ныне известный скульптор, академик российской Академии художеств, и вместе с ним, по его свидетельству, там находились и парни из советских немцев.

Жизнь преподносит всякие уроки, подчас начинает казаться, что угрожающее нагромождение все новых жестокостей вконец исковеркает человеческие души. Поэтому в примерах врожденной доброты, простой и естественной в своих проявлениях и не нуждающейся в громких фразах, есть нечто целебное.

ОТ «ВЛАСТИ ЗЕМЛИ» К ВЛАСТИ ДЕНЕГ

Одной из характерных примет переживаемого российским обществом кризиса, в том числе кризиса общемировоззренческого и духовно-нравственного, является происходящая в нем поляризация взглядов и на историческое прошлое, и на настоящее, и на будущее страны, на мировое развитие в целом.

Вопреки всем призывам к согласию и единению, мнения высказываются взаимоисключающие. Вместо прежнего идеологического конформизма — диаметрально противоположность суждений и оценок. И это касается коренных вопросов национальной истории, общественно-политического, экономического, культурного, нравственного развития нации. То, что одними воспринимается как начавшийся путь обновления России, как ее вступление на желанный путь свободного развития и действительного прогресса, другим представляется катастрофическим упадком и движением вспять, повторением истории и реставрацией старых общественных форм.

Причем впечатление такое, что оппоненты не только друг друга не могут убедить, но и сами в глубине души не до конца убеждены в возможности реализовать их идеи на всеобщее благо, согласно первоначальному обещанию. При практическом воплощении в этих идеях часто обнажаются узкогрупповые прагматические интересы одного социального слоя, одной партии, одного клана, а не общества в целом. В этом уже не стесняются признаваться открыто, в борьбе за экономические и политические реформы все больше надежд возлагается на новые имущие классы, достаточно окрепшие, чтобы сдерживать недовольство масс, которым советуют набраться терпения.

Индивиду предоставлено вроде бы право выбора и свободного волеизъявления, но часто он в полной растерянности, не зная, как воспользоваться этим правом и кого выбирать. Охвативший общество дух политического и самого прозаического меркантильного прагматизма, вплоть до коррупции выбираемых депутатов и высокопоставленных правительственных чиновников, сильно подорвал доверие людей к кому бы то ни было. В простом смертном преобладают сомнения, скепсис, безразличие, моральный релятивизм, ироническое отношение к происходящему вокруг.

Ни для кого уже не секрет, что в обществе произошли сдвиги нравственных ориентиров. Как выражаются современные

шутники, дополняя народную поговорку и подчеркивая дух предприимчивости: «Не в деньгах счастье, а в их количестве». При нашей общей бедности очень уж возобладаю у многих желание обогатиться и все оценивать на деньги — от мелких услуг частных фирм и государственных учреждений, вроде разных справок, до стоимостной цены рок-звезд и спортсменов мирового класса. Через прессу и средства массовой информации широкой публике теперь даже известно, сколько стоят в рублях и долларах проститутки в московских отелях. Профессия вроде бы тоже нужная, раз есть спрос.

Некоторых уважаемых людей этот крен в общественной морали пугает своими последствиями. В одной из недавних телепередач драматург Виктор Розов выразился, что мы переживаем «эпоху морального растления», имея в виду прежде всего молодежь. С точки зрения писателя, вершинные явления мировой культуры всегда были ориентированы на иные нравственные ценности и идеалы.

Но другие встревожены не очень, видимо, причисляя раздвинутость нынешних нравственных границ к вполне допустимым издержкам экономического раскрепощения общества. Любопытно, что известный экономист-реформатор и политик Егор Гайдар в книге «Государство и эволюция» (1995), обосновывая извечную страсть людей к деньгам и собственности, тоже ссылается на классику — на роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, где Воланд, оказавшись в Москве тридцатых годов, задает себе вопрос: «Ну что же... они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну что ж... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их».

И дальше продолжает уже автор-экономист, тоже не без иронии: «Да, так было всегда. Но никогда не было строя, безумно отрицавшего это «человеческое, слишком человеческое» чувство. Никогда не было строя, для которого человеческая любовь к деньгам, собственности неслась бы смертельную угрозу. Что же — тем хуже для строя»⁵.

Что можно сказать по поводу этой защиты «человеческой любви к деньгам и собст-

⁵ Гайдар Е. Государство и эволюция. М., 1995, с.111-112.

венности» в качестве всеобщего закона на все времена?

Прежде всего хотя бы то, что Воланд в романе Булгакова ведь на то и маг, воплощающий нечистую силу, чтобы обнажать в людях все дурное, искушать их всяческими соблазнами, вводить в грех. В мировом фольклоре и литературе это издавна входило в функцию персонажей подобного рода — черта, дьявола, беса, антихриста, Люцифера, Мефистофеля и других магов-чернокнижников. Недаром говорится: продал душу дьяволу. При всей неоднозначности образа Воланда, при всем художественном наслаждении автора романа изобретательными выдумками своего героя, очень сомневаюсь, чтобы сам Михаил Булгаков был в большом восторге от «человеческой любви к деньгам».

Конечно, большинство людей должны зарабатывать на жизнь, но чтобы деньги стали кумиром — это не для всех и вовсе не для творений мировой культуры. Иначе не понять и некуда будет поместить ни царя Мидаса из античного мифа, ни шекспировского Шейлока, ни бальзаковского Гобсека, ни Настасьи Филипповны, сжигающей ассигнации в «Идиоте» Достоевского, ни мучительного ухода Толстого из Ясной Поляны.

Наряду с прозой практической жизни человечество всегда нуждалось в идеалах — не для того, чтобы оправдывать двуличие и моральную фальшь, а для того, чтобы хоть в чем-то совершенствоваться и не забывать о совершенном. Иначе зачем нужны были бы пустые разговоры о дороге к Храму и смиренное стояние со свечкой в руке?

Презрение к Маммоне заложено в самом христианстве, и не большевики первыми возненавидели собственность. Еще Христос символически изгнал торговцев из храма «и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул» (Иоанн, 2:15). А в обращении с земельной собственностью Спаситель призывал к разумной умеренности: «Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга» (Левит, 25:14). Об этом нелишне вспомнить, когда слышишь в последних известиях, что отныне обычная прописка в Москве может обойтись в сотни миллионов рублей, — где уж тут простому смертному обосноваться в столице белокаменной.

Все это говорится к тому, что произвольной универсализацией нынешних тенденций в нашем обществе, неправомерным их распространением на все времена мы ничего не пойдем в человеческой истории. На то

она и история, чтобы к ней подходить исторически. Кем-то сказано, что история — это «человек в рамках времени», и у каждого времени свои проблемы и свои идеалы, в том числе по части земельных отношений. Позволю себе кратко обозреть основные моменты в исторической эволюции на примере как русского, так и финского культурного наследия.

Можно начать с того, что у многих народов есть легенды о «дальних землях» либо о каком-нибудь заморском острове, где земля свободна — ни в чьем частном владении. В отличие от вымышленной страны Утопии Томаса Мора (1476-1535), название которой в переводе означает «место, которого нет», или идеального «Город Солнца» Томазо Кампанеллы (1568-1639), создатели народных легенд о «дальних землях» верили в их реальное существование. Под влиянием таких легенд нуждавшиеся в земле крестьяне могли пускаться в трудные поиски счастливой страны, как об этом рассказывается в книге К.В.Чистова «Русские народные социально-утопические легенды XIX-XX вв.» (1967). Народные утопии и странствия так называемых «бегунов» были связаны с религиозными движениями, в частности, с русским раскольничеством. В религиозно-утопических легендах Бог создал землю общей для всех людей, а частнособственническое понятие «мое» — от дьявола и антихриста, воплощенных в государстве, во власти феодалов и чиновников. Особенно популярной была легенда о стране Беловодье; по мере того как «бегуны» искали и не находили ее, она отодвигалась воображением все дальше, снаряжались новые партии искателей, которые доходили до Дальнего Востока, после чего о Беловодье распространялась молва, что она где-то за морем в Японии. Такие странствия продолжались в течение XVII-XIX веков, по пути «бегуны» образовывали на новых землях братства и скиты. Когда их задерживали и допрашивали чиновники, ответом было: «А что же такое? По-вашему, кто царь, кто генерал, кто ваше высокоблагородие, а по-нашему, все равные братья». Исследователи считают, что подобные стихийные движения «бегунов» еще в XVI-XVII веках сыграли немалую роль в колонизации Сибири. Старообрядческие скиты «бегунов» были известны и в Карелии.

Отзвуки подобных же легенд о счастливом острове со свободной землей есть в «Калевале». Реминисценции общинного землевладения встречаются в некоторых исторических произведениях карельских писателей (Н.Яккола, Я.Ругоев).

В финской литературе XIX века утверждается идеал независимого крестьянина, владельца обрабатываемой им земли. В финской деревне было много безземельного населения, причем в положении безземельных могли оказаться и младшие сыновья крестьянина-собственника, поскольку крестьянская усадьба, как правило, не дробилась между несколькими наследниками, а передавалась старшему сыну. Положение безземельных было тяжелым, они оказывались «лишними людьми» в аграрном обществе. Еще в 1765 году финляндский просветитель Андрес Чудениус писал о них: «Толпы оторванных от земли людей напоминают мне загнанных посей на охоте — на пути их тоже расставлены петли и западни. И если человек родился на этот свет сыном батрака, торпаря или даже земледельца-собственника, но не первенцем в семье, а вторым, третьим или четвертым сыном, то ему уже уготовлена участь раба <...> Подобных несчастных преследуют как бродяг, их отдают в солдаты, нанимают, покупают и продают, подозревают во всем плохом, карают и мучают до самой могилы».

На стороне таких людей, как и на стороне зависимых торпарей-арендаторов и вообще земледельцев, — полное сочувствие просвещенных представителей тогдашнего сословного общества, в котором крестьянство, в том числе крестьяне-собственники, считалось низшим, самым последним сословием. У просветителей имелись нацеленные против сословной иерархии иронические контраргументы. Писатель Якко Ютейни в начале XIX века считал крестьянство самым древним, самым именитым и благородным сословием, поскольку оно ведет свою родословную от Адама, а дворянство появилось позже.

Свободный пахарь, владеющий землей, обрабатывающий собственное поле и чувствующий себя хозяином, был идеалом угнетенной части сословного общества. На стороне такого свободного земледельца — безоговорочная моральная правда, ничего ущербного в его мелко-собственнической социальной природе еще не выявлялось и не подчеркивалось. Алексис Киви в 1860-е годы прославлял в стихах, прозе, пьесах образ вольного пахаря-первопроходца, рубящего лес, корчующего пни, основывающего в чащобе новое земледельческое хозяйство. В пьесе «Сапожники из Нумми» (1864) крестьянин Карри говорит своему молодому зятю, которому он выделил в лесу участок для обживания: «Пускай ельник отступит от твоего дома и медведь перенесет свою берлогу подальше. Ничего, там хва-

тит места вам обоим. Пускай весело запылает твоя пожога и густой дым взвывает под самые облака, чтобы люди видели и говорили: это горит пожога Якко из Кутинкорпи! Через десять лет пожоги станут полями... Хлеб заколосится на них! А там, где сейчас серая топь и журавлиные гнезда, будут стоять стога сена. И вот уж я вижу: твоя хозяйка спустилась под гору доить коров, на каменистом склоне ребятишки затеяли веселую возню, а у ворот звонко лает пес Халли, когда ты выходишь на крыльцо своего дома, чтобы наточить косу...» Как это часто бывает в произведениях Киви, в этой картине крестьянского труда и жизнестроительства все наполнено простором и перспективой — не только визуальной, но и социальной. В аграрном обществе надежда возлагалась на крестьянство, оно и составляло народ, с ним связывались судьбы нации.

Можно обнаружить много общего в оценках основополагающей роли крестьянского труда и крестьянского сознания в общенациональном развитии у представителей, с одной стороны, финской, а с другой — русской литературы и общественной мысли XIX века.

Еще Элиас Лённрот (1802-1884) придерживался мнения, что в аграрном обществе для сельского населения основным должно быть именно земледелие, хлебопашество, а все отхожие промыслы — только побочным занятием. Земледельческие народы, с точки зрения Лённрота, наиболее здоровые, устойчивые и процветающие народы. Обратно сравнивая аграрное общество с зеленеющим деревом, Лённрот говорил, что земледелие — это крепкий ствол, все остальное — лишь ветви на стволе.

Нечто очень похожее в русской литературе можно найти у Глеба Успенского (1843-1902) в его многочисленных крестьянских очерках, в которых он развивал идею «власти земли» и ее роли не только в хозяйственной, но и духовной жизни народа и нации. Глеб Успенский писал свои очерки на несколько десятилетий позже наблюдений и рассуждений Лённрота — русское общество успело к тому времени, к 1870-1880-м годам, уйти гораздо дальше в своем развитии и в своих противоречиях. Поэтому у Успенского многое выражено значительно резче, с учетом нового опыта и новых социальных понятий, но сходство с мыслями Лённрота и других финских писателей XIX века, эпохи аграрного общества, бросается в глаза.

Как считал Глеб Успенский, увлечение крестьян разными промыслами и вообще добыванием денег любыми способами, по-

мимо земледелия, содействовали образованию многочисленного класса «деревенского пролетариата». Такие люди уже не хотели заниматься хлебопашеством, причем не по причине безземелья, а из-за появившегося у них равнодушия к тяжелому и многообязывающему земледельческому труду.

В своем некогда знаменитом, а теперь уже подзабытом очерке «Власть земли» (1882) Глеб Успенский утверждал, что в земледелии заключена «тайна» русской жизни, первооснова могущества и нравственных устоев русского народа. «А тайна эта поистине огромна и, думаю я, заключается в том, что огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастьях, до тех пор молода душою, могущественно-сильна и детски-кротка — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, — народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, — до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит **власть земли**, покуда в самом корне его существования лежит **невозможность** послушания ее **повелений**, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование»⁶.

И далее: «Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнуется крестьянина, — добейтесь, чтобы он забыл «крестьянство», — и нет этого народа, нет народного мирозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хочешь» (с.116).

И еще о деньгах, об опасности чрезмерного увлечения ими — опасности не только для отдельной личности, но и для общества в целом, всего национального бытия: «Представьте себе, что выйдет, если мы, оценив результаты в деньгах, дадим этих денег любому крестьянскому двору втрое больше, чем он вырабатывает в течение года, — что выйдет? Образуется не семья трудящихся, занятых людей, а толпа ртов, у которых вся жизнь — сплошная пустота, что мы и видим в семьях, где живут, как говорится, «на готовых деньгах», тогда как владывающая над ним земля и труд, к которому она обязывает, наполняют все его существование, объясняют ему необходимость и надоб-

ность каждого шага, каждого поступка, каждого помышления» (с.118).

И наконец предельно заостренная квинтэссенция мысли Глеба Успенского с обращением к фольклорному образу могучего пахаря-ората Микулы Селяниновича из былины «Вольга и Микула»: «Таким образом, — писал Успенский, — у земледельца нет шага, нет поступка, нет мысли, которые бы принадлежали не земле. Он весь в кабале у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону из-под ига этой власти, что когда ему говорят: «Чего ты хочешь, тюрьмы или розог?», то он всегда предпочитает быть высеченным, предпочитает перенести физическую муку, чтобы только сейчас же быть свободным, потому что хозяин его, земля, не дожидается: нужно косить — сено нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вот в этой-то ежеминутной зависимости, в этой-то массе тяготы, под которой человек сам по себе не может и пошевелиться, тут-то и лежит та необыкновенная *легкость* существования, благодаря которой мужик Селянинович мог сказать: «меня любит мать сыра земля» (с.119).

Глебу Успенскому не были чужды народные увлечения (народническим писателем его считал, в частности, Г.В.Плеханов), хотя, с другой стороны, некоторые либеральные народники, склонные к идеализации народа и крестьянской общины, не принимали его слишком суровых деревенских очерков, — это была, по выражению критика С.А.Венгерова, настоящая «мужицкая литература». Возможно, Глеб Успенский несколько мистифицировал всеильную «власть земли», однако, как и в древнем мифе об Антее, есть в этом заострении своя правда: без любви к земле крестьянин не крестьянин. В наше время, видя воочию печальные итоги «раскрестьянивания» российской деревни, мы это с особой остротой чувствуем: желающих и умеющих по-настоящему, по-крестьянски, заниматься земледелием осталось не так уж много, а едоков хватает, и в перекупщиках сельхозпродукции тоже нет недостатка.

Однако исторически традиционное крестьянство повсюду, во всех странах, претерпевало структурные изменения, которые были особенно существенными в XX веке, например, в Финляндии и Скандинавии, где аграрное производство динамично интенсифицировалось и увеличилось в объеме, а число производителей сокращалось.

Российская деревня еще до столыпинских реформ и тем более после них, с выходом крестьян из общины, социально расслаива-

⁶ Успенский Г. Собр. соч. в 9 томах. М., т.5, с.115.

лась. Уже в оценках Глеба Успенского встречается слово «кулак» в значении «миродея» и разрушителя традиционного крестьянского уклада жизни. О будущей насильственной расправе над кулаком как врагом колхозов писатель еще не имел представления.

В начале XX века обострились социальные отношения и в финляндской деревне, безземельная беднота стала объединяться для борьбы за свои права. Так называемый «торпарский вопрос» привлекал и литературу, его касался, например, Арвид Ярнефельт в ряде своих романов и в известном памфлете «Земля принадлежит всем!» (1907). Отчасти через Ярнефельта земельными отношениями в Финляндии заинтересовался Лев Толстой, с которым он дважды встречался и вел переписку. В поле зрения обоих писателей была также «уравнительная» аграрная теория американского социолога Генри Джорджа, пропагандой которой — не без влияния Толстого — увлекся Ярнефельт.

Вообще следует подчеркнуть, что в финской литературе начала века изображение деревни резко изменилось, стало более жестким и бескомпромиссным; описывались нищета и отчаяние бедноты, ее растущее возмущение социальным эгоизмом земельных собственников, выступавших как консервативная сила.

Впервые в финской литературе начала века стала отчетливо изображаться двоякая природа крестьянина — труженика и мелкого собственника. Традиционные черты крестьянской психологии — бережливость, расчетливость, привязанность к своей усадьбе и имуществу — стали приобретать в литературе негативный привкус мелкобуржуазной меркантильности и заскорузлости души. Причем потенциально эти черты могли таиться пока не проявленными и в сознании безземельного бедняка, мечтавшего в будущем стать собственником. Весьма характерным для таких прозаиков, как Илмари Кианто, Майю Лассила, Йозль Лехтонен, затем Ф.Э.Силланпя и Пентти Хаанпя, является именно то, что даже угнетенных и страдающих бедняков они описывают очень жесткой рукой, без всякой идеализации. В литературе утверждалась как раз тенденция «деидеализации» деревни, происходила ломка и пересмотр прежних представлений о народе. Прежняя патриархально-крестьянская романтика в литературе теперь воспринималась чаще всего иронически как запоздалая дань архаической «берестяной цивилизации», и все это охотно пародировалось.

Сама проблема «власти земли» не могла не переосмыслиться в новых условиях, в общественно-литературной атмосфере начала века. Вот как рассуждает об этом в повести Марии Йотуни «Простая жизнь» (1909) порвавший со своей средой бродяга Нюман, наблюдая крестьянскую жизнь: «Земля была для них все во всем: ее они пахали, в нее бросали зерна, с нее снимали урожай. Они будто сами приросли к ней и не могли от нее оторваться. Так жили их отцы и деды, так будет с их потомками. Разве может человек освободиться от власти земли?»

Привязанность к земле ассоциировалась теперь с привязанностью к собственности. Еще писатели-неоромантики, а затем реалисты начала века сильно заострили проблему буржуазности современного им общества, заодно и крестьянской психологии, когда достоинство человека измерялось количеством дойных коров, а при заключении браков не столь важной была любовь молодых, сколько родовые имущественные интересы. Или в позднем романе «Шаткий дом» той же Марии Йотуни: «Прежде подбирали жену, чтобы усадьбы и поля подходили друг к другу, а сам человек был делом десятых».

Заостренной антибуржуазностью определялся во многом сам тип неоромантического героя — скиталеца и бродяги, представителя богемы, словом, человека неустроенного и материально неблагополучного, но именно своей личной неустроенностью и презрением к благополучию протестующего против оков собственности и буржуазного практицизма.

Уместно напомнить, что еще в европейском романтизме первой половины XIX века появились подобные мотивы. В романе Жорж Санд «Консуэло» (1843) героиня, разочаровавшись в видимом благополучии сельской жизни, считает, что «лучше быть артистом или бродягой, чем владельцем поместий и крестьянином, ибо с обладанием как земли, так и снопа связаны и несправедливая тирания, и мрачное порабощение алчностью».

В начале века в Финляндии получило известность творчество Максима Горького, в том числе его «босяцкие рассказы». Ведь и в рассказе «Челкаш» крестьянской алчности (образ Гаврилы) противопоставляется романтизированный, смелый и великодушный босяк-контрабандист, на свой лад презирающий общество собственников и собственническую мораль. Попутно можно отметить: когда в современной нашей критике подчас на одного Горького возлагают вину за «антикрестья-

янскую» тенденцию в литературе, то здесь сужается и упрощается весьма сложная проблема, к тому же литература отрывается от общественных процессов.

Но несмотря на происходившие в литературе изменения в изображении крестьянства,

вплоть до середины XX века Финляндия продолжала оставаться аграрной страной, в связи с чем и литература была сосредоточена преимущественно на крестьянстве и его исторических судьбах. Коренные перемены начались во второй половине столетия.

ПЕРЕМНЫ

Еще в середине шестидесятых годов писатель Вяйне Линна, хорошо знавший финскую деревню и сам родившийся в ней, как-то сказал, что за два послевоенных десятилетия сельская Финляндия изменилась больше, чем за два предшествующих столетия. С тех пор прошло еще тридцать лет, и изменения еще более впечатляющи.

В чем же эти главные перемены? Они касаются самого сельскохозяйственного производства и его эффективности, коренного обновления перерабатывающих отраслей и всей аграрно-промышленной инфраструктуры, современной дорожной системы, автомобилизации, механизации и компьютеризации, строительства и обустройства жилищ, всего образа жизни сельского населения, включая самые северные районы страны.

Резко сократилась доля занятости в аграрном и примыкающем к нему лесном хозяйстве. Еще в начале 1950-х годов Финляндия считалась аграрной страной, половина ее четырехмиллионного тогда населения была занята сельским хозяйством (в начале столетия — более трех четвертей). К началу 1980-х годов эта доля уменьшилась до 10 процентов и продолжает снижаться, составляя в южных районах (например, в губернии Уусимаа) всего лишь 1-3 процента. Только за период 1950-1975 годов собственно сельское население Финляндии сократилось на один миллион человек при том, что объем производства резко увеличился, в молочном хозяйстве — в пять раз.

Столь ускоренное развитие не обходилось без проблем, в том числе социальных. Особенно в восточных районах страны, традиционно аграрных и менее индустриализированных, образовалось избыточное сельское население в связи с сокращением числа крестьянских хозяйств. Происходило это и в процессе жесткой стихийной конкуренции, и в результате целенаправленной правительственной политики. Самые мелкие хозяйства закрывались, их владельцам выплачивалась некоторая компенсация; тем же хозяйствам, которые были способны технологически обновиться и интенсифицировать производство до уровня, близкого к миро-

вому, правительство выдавало дотации и до некоторой степени гарантировало сдатоchnость цены, чтобы они возмещали себестоимость продукции. Из-за природных условий себестоимость некоторых видов сельхозпродукции, например, зерна, в Финляндии может быть выше мировых цен, но страна заинтересована в сохранении зернового хозяйства.

Несмотря на гибкость правительственной политики, возникали кризисные ситуации вследствие убыстренных перемен в аграрном хозяйстве. Значительная часть избыточного сельского населения была вынуждена эмигрировать из страны — в 1960-70-е годы в Швецию переселилось около трехсот тысяч финнов, преимущественно сельских жителей. В то же время возникали трудности сбыта увеличивавшейся сельхозпродукции; в 1960-е годы финская пресса много писала об образовавшейся «масляной горе», о кризисе перепроизводства животноводческой продукции, которую Финляндия традиционно экспортировала, находясь в зависимости от конъюнктуры внешнего рынка.

Жесткая конкуренция на европейском и мировом рынке требует от мелкокрестьянского хозяйства большого напряжения и продуманной государственной политики, и финское, как и скандинавское, мелкокрестьянское хозяйство успешно выдерживает трудный экзамен, доказывая свою жизнеспособность в современных условиях. Для северных стран с их исторически сложившейся аграрной структурой мелкий крестьянин остается конкурентоспособным производителем. Конечно, и эта структура, и сама психология мелкого крестьянина эволюционируют, но об этом чуть позже, а сейчас уместно сослаться на конкретный пример. Что же представляет собой современный финский мелкий крестьянин?

Во время поездок в Финляндию мне доводилось несколько раз бывать на крестьянских усадьбах или наблюдать их жизнь хотя бы со стороны. Как-то в середине восьмидесятых годов я посетил усадьбу в районе Кухмо, что напротив Костомукши. Как известно, по нашу сторону границы в тех се-

верных районах сельскохозяйственное производство не слишком преуспевает, и мне было интересно увидеть своими глазами, как же организовано животноводство на севере Финляндии, где оно является основным в аграрной отрасли.

Даже по нормам мелкокрестьянской страны это было маленькое молочное хозяйство: всего шесть гектаров пахотной земли, из них половина засеивается травами, другая половина ячменем, тоже для корма скоту. Урожай ячменя около сорока центнеров с гектара — для тех широт вовсе неплохой результат, сопоставимый с урожайностью хлебов на Кубани. Техника в хозяйстве в основном своя, некоторые машины куплены на паях с соседями. В хозяйстве восемь коров, удои каждой — от 7500 до 9000 литров в год. Хозяйка сказала, что она хотела бы увеличить стадо, но во избежание перепроизводства молока установлен лимит. Скотный двор хорошо оборудован, коровы содержатся без всякой подстилки, навоз ежедневно вымывается струей воды, навозная жижа стекает в специальный резервуар, откуда она потом в нужное время выкачивается и разбрызгивается на поля, которые тут же рядом, не дальше ста-двухсот метров. В хлеву электрический водонагреватель, дойка электрическая, молоко стекает прямо в

специальный бак-холодильник из нержавеющей стали, где оно может храниться свежим в течение трех дней. Регулярно с молокозавода приезжает специальная машина, выкачивает молоко, весь учет автоматизирован, в присутствии хозяев нет необходимости. Кроме автоматики, есть еще полное деловое доверие. К усадьбе ведет хорошая дорога, строения расположены на берегу озера, все ухожено, нигде ничего не валяется. Выстроен новый жилой дом с электроотоплением, а старый дом обновляется, чтобы летом в нем могли поселиться гости либо отдыхающие туристы. Самим хозяевам усадьбы, мужу и жене, около сорока лет, может, чуть поменьше, у них трое детей между 10-14 годами.

Был солнечный осенний день, синело озеро, окаймленное золотым листопадом, и в доме тоже было солнечно. На прощание я спросил хозяев, счастливы ли они. С улыбкой и вопросительно переглянувшись друг с другом, они ответили: вроде бы да.

Конечно, многого за часовую беседу не узнаешь, всех забот и радостей не выведешь.

Кое-что о «подноготной» современного интенсивного и конкурентоспособного аграрного хозяйства можно дополнительно узнать из книг.

СОМНЕНИЯ В СТАРЫХ И НОВЫХ ИСТИНАХ

Одним из самых острых и бескомпромиссных финских критиков ультрасовременного аграрного производства и его последствий является профессор Матти Сармела, ведающий кафедрой культурной антропологии Хельсинкского университета, автор многих книг и статей, талантливый полемист, которого охотно печатают в массовой прессе, хотя многие и считают его взгляды односторонними. То, что ниже будет изложено, является как раз его заостренной критикой «постиндустриального» развития.

Общий взгляд профессора Сармела можно кратко выразить следующим образом: хотя финское аграрное хозяйство остается по форме мелкокрестьянским, оно уже тысячами нитей связано с общемировой экономикой, а в связи со вступлением Финляндии в Европейский Союз «глобализация» финской деревни, финской культуры, психологии финского земледельца и вообще самобытного облика всего финского народа пойдет все более убыстренными темпами. В наиболее полном виде этот взгляд развивается в книге Матти Сармела «Структурные изменения и будущее» (1989). Он пользуется приня-

тыми в западной науке терминами: локальная культура и «постлокальная» (глобальная) культура, причем «делокализация» культуры имеет свои промежуточные стадии.

Как подчеркивает М. Сармела, переустройство финского сельского хозяйства означало не просто механизацию, замену трехсот-четырехсот тысяч довоенных лошадей примерно таким же количеством тракторов и других машин, а перевод производства в единый технологический, финансово-кредитный, торговораспределительный поток. Мелкий фермер сознает себя уже не самостоятельным хозяином, каким был крестьянин-собственник в былые времена натурального или полунатурального хозяйства, а деталью общего конвейера, в отрыве от которого он ничего предпринять не может. Доля его собственного труда в производимом продукте составляет только 10 процентов, остальные 90 процентов — это вложенный капитал, в том числе кредитный. Управление конвейером становится все более централизованным и концентрированным. До войны в Финляндии

было около 600 молокозаводов, в семидесятые годы стало 160, сейчас говорят, что хватит и двух десятков, и в конце концов, замечает Сармела, удовлетворятся одним супертехнологичным молокозаводом. И корова теперь уже не просто корова с естественными природными свойствами, а молочный робот-агрегат, созданный генной инженерией; и сам фермер скоро будет похож на робота, получающего компьютерную информацию из центра. В завершение своей критики «обезличивающего» производства М. Сармела иронически добавляет, что в любой финской деревне можно нынче обнаружить некое стандартизированное подобие той самой «Новой Атлантиды», о которой мечтал английский философ Фрэнсис Бэкон (1561-1626), описавший в своей утопии идеал общества будущего, предельно рационализированного и высокотехнического.

Что касается культуры, то, по убеждению М. Сармела, все локально-своеобразное и национально-неповторимое будет неизбежно нивелироваться по общемировым стандартам. В первую очередь это касается малых народов и малых государств, но не только их. Глобальная экономическая и научно-техническая интеграция будет иметь своим следствием «глобализацию» культуры, многочисленные локальные этнокультуры будут вытеснены всеохватной рок-н-ролловой «трясучкой».

Это, повторяем, предельно заостренная критика весьма противоречивого современного мирового развития. Однако судьбы самобытных народов и национальных культур волнуют очень многих людей в разных странах. Довольно широко распространено скептическое отношение к индустриальному развитию в том виде, в каком оно осуществлялось и осуществляется в промышленных странах Западной Европы и остального мира. Под сомнение ставится весь путь западного общественно-исторического развития как универсального и целесообразного для всего человечества. Скепсис этот давний, но угроза экологической и ядерной катастрофы усугубила его. Некоторые ученые прогнозируют истощение биосферы уже в течение полустолетия, если человечество не изменит в корне образ жизни.

Не вдаваясь в подробности продолжающихся дискуссий и выдвигаемых альтернативных идей, ограничусь констатацией некоторых общих исходных положений.

Считается, что для понимания своего бытия человечество должно выработать новую мировоззренческую «парадигму»,

систему основополагающих идей взамен устаревших.

Вместо прежней линейной эволюции, охватывающей и природу, и человеческое общество, все более настойчиво акцентируется идея «мультилинейной» эволюции, то есть многовариантного, многонаправленного развития народов и их культур. В значительной степени утрачено доверие к моргановской (и энгельсовской) теории линейно-стадиальной эволюции брачно-родственных отношений и племенных общин, хотя полностью отказаться от нее все же трудно за неимением лучшего объяснения ряда явлений. Тем не менее проявляется тенденция предполагать культуры не по ступеням эволюционной лестницы, а как бы рядоположно, признавая их равноценность и право на одновременное существование. Понятие «эволюция» дополняется понятием «инволюция» — подразумевается взаимная адаптация культур, их «вращение» и «вживание» друг в друга.

Многие считают необходимым пересмотреть в своем теоретическом багаже и отечественная российская наука, особенно историческая. Ортодоксальный марксизм в том виде, в каком он излагался под прессом строгого идеологического контроля, уже не удовлетворяет историков, поскольку многие общественные явления истолковывались упрощенно в духе устоявшихся вульгарно-социологических схем. Но наиболее трезвые исследователи, не склонные шарахаться из одной крайности в другую, отдадут лучшее лучшим достижениям марксизма в понимании истории, подчеркивая при этом, что и сам марксизм, как форму исторического знания, следует воспринимать исторически, в рамках своего времени.

Высказывается, в частности, мнение, что историческая наука должна стать понастоящему гуманитарной, то есть сосредоточенной на человеке и человеческих ценностях, а не только на общих социологических закономерностях и классовых отношениях. По словам исследователя, науке об обществе надлежит быть антропоцентристской, ибо «исходным пунктом общественного бытия и развития является человек. Ведь конечная цель любого исследования — познание человека или познание для человека. Если общество, его экономика не направлены на человека, они в своей сущности порочны. Если в обществе проводятся различные реформы не в интересах человека, то они, следовательно, античеловечны, лишены гуманистического смысла. Суть но-

вой парадигмы развития общества, которая может быть предложена россиянам и человечеству, как раз заключается в том, чтобы в центре исторических процессов «разместить» не капитал, золото, деньги, а развитие человека; увидеть в нем не только средство (фактор), но

прежде всего цель, результат, смысл существования самого общества, всего человечества. Именно такая парадигма должна лечь в основу деятельного осмысления современных социальных и экономических процессов дальнейшего общественного развития»⁷.

К РОДИТЕЛЯМ

Размышления о крестьянстве и его судьбах далеко увели меня от ингерманландской колхозной деревни, к тому же вскоре мне предстояло и физическое расставание с нею. Ребячья душа тосковала по родителям, самым желанным для нее было соединение с ними.

О родителях мы беседовали с братом Александром, когда я бежал к нему из Алакюля в Котсала, где он был пастухом. Я навещал его прямо на пастбище, пробегая три-четыре километра по полевым дорогам и луговым тропам. Отыскать стадо на открытом выгоне среди низких ольховников было нетрудно. Мы усаживались на траве, рассказывали друг другу последние деревенские новости, про свои дела. Родители писали нам, хотя и не часто, и мы читали друг другу их письма. Брат угощал меня молоком и едой, которую давали ему с собой деревенские хозяйки. Наши разговоры не могли быть особенно веселыми, их омрачало чувство полусиротства, разделенности всей нашей семьи — и меня с Александром по разным деревням, и старшего брата Ааппо, который работал на сучанских шахтах на Дальнем Востоке, и родителей в хибинской ссылке.

Брата Александра угнетало и то, что, в отличие от меня, он не мог учиться в школе и должен был добывать себе пропитание. Его образование ограничилось четырьмя классами начальной школы, которую он успел закончить до родительской ссылки. В дальнейшем он пополнял свое образование на разных технических курсах для получения специальности. В Хибинах он работал бурильщиком на апатитовом руднике, а в Карелии долгое время — электриком на одном из шлюзов Беломоро-Балтийского канала. Но все это еще впереди.

После школьных занятий в Алакюля мне иногда хотелось посетить родную деревню Финно-Высоцкое, и я бежал туда напрямик, чтобы попасть быстрее, хотя особенно глядеть там было не на что. Деревня тоже казалась мне какой-то полусиротой, многих

домов не было на месте, после нас еще несколько семей сослали в Среднюю Азию. Я заходил иногда к тетушке Эве, оставшейся после ссылки мужа с малыми детьми и больной дочерью. Там и без меня хватало забот, и я охотнее заглядывал в маленький домик, хозяйка которого не приходилась нам родней, но по доброте души не раз приглашала меня и давала на день-другой приют. Наверное, она понимала, что у мальчишки была потребность бывать в родной деревне.

Как-то раз накануне Пасхи я вновь собрался в Финно-Высоцкое. Тетушки в Алакюля сообщая справили мне только что новые ботинки, и мне хотелось появиться в них в родной деревне. Снег уже всюю таял, я бежал по влажным остаткам сугробов и по талой воде. Ботинки мои насквозь промокли, и похвастаться обновой уже не пришлось. Увидев мои мокрые по колено ноги, моя покровительница велела мне тотчас же разуться и раздеться и забраться на теплую печку, куда положила сушиться и одежду с ботинками. Меня накормили кашей и напоили чаем, и скоро сон одолел меня.

Наутро обнаружилось, что мои высокие за ночь ботинки все скорезжились и потеряли всякий вид. Не было никакого лоска, кожа местами поблекла и стала жесткой. Меня заботила уже мысль о том, как я покажусь с таким пасхальным подарком в Алакюля и что скажут мне тамошние тетушки: одно дело получить трепку от родной матери, и совсем другое — услышать даже сдержанный выговор от родственников.

Хотелось к матери. Мой домашний очаг теперь был в Хибинах, где ссыльные потихоньку привыкали к новым условиям, превращались из крестьян в пролетариев и прощались со слабой надеждой, что когда-нибудь еще вернутся на родину.

⁷ Пуляев В.Т. Время разбрасывать камни прошло, наступило время их собирать. «Гуманитарий». Ежегодник. СПб., 1995, № 1, с.7.